

СОВРЕМЕННАЯ И КЛАССИКА

Кен Кизи

ПОРОЮ
БЛАЖЬ
ВЕЛИКАЯ

18+

«ИНОСТРАНКА»

Иностранная литература. Современная классика

Кен Кизи

Порою блажь великая

«Азбука-Аттикус»

1964

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Coe)-44

Кизи К.

Порою блажь великая / К. Кизи — «Азбука-Аттикус»,
1964 — (Иностранная литература. Современная классика)

ISBN 978-5-389-14638-9

В орегонских лесах, на берегу великой реки Ваконды-Ауги, в городке Ваконда жизнь подобна древнегреческой трагедии без права на ошибку. Посреди слякоти, и осени, и отчаянной гонки лесоповала, и обреченной забастовки клан Стэмперов, записных упрямцев, бродяг и одиночек, живет по своим законам, и нет такой силы, которая способна их сломить. Каждодневная борьба со стихией и непомерно тяжкий труд здесь обретают подлинно ветхозаветные масштабы. Обыкновенные люди вырастают до всемогущих гигантов. История любви, работы, упорства и долга оборачивается величайшей притчей столетия. На этой земле полутонн множество, однако не бывает полумер и ничего невозможно сделать вполовину. Роман «Порою блажь великая» был назван «одной из важнейших книг, написанных в Америке во второй половине двадцатого столетия», и в 1997 г. Американское Северо-Западное общество писателей поместило его на первое место списка «12 Важнейших Произведений Северо-Запада». Содержит нецензурную брань

УДК 821.111(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-389-14638-9

© Кизи К., 1964

© Азбука-Аттикус, 1964

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.	106
-----------------------------------	-----

Кен Кизи

Порою блажь великая

Ken Kesey
Sometimes a Great Notion

© Ken Kesey, 1963, 1964

© Д. Сабаров, перевод, 2018

© Издание на русском языке, оформление ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018

Издательство Иностранка®

* * *

*Моим родителям любезным,
Которые сказали: «Песни – птицам!» —
И научили всем мелодиям,
И помогли словам учиться.*

*Порою обитаю на природе,
Порою обитаю в городке,
Порою блажь великая приходит:
Дай прыгну я... и утоплюсь в реке!*

*Из песни Хадди Ледбеттера и Джона Э. Ломакса «Спокойной ночи,
Айрин»*

*У западных склонов Орегонского Берегового хребта... глядите: истерические конвульсии
притоков, пожираемых рекой Ваконда-Ауга.*

*Первые струйки реки журчат упруго, упорно, настырными ветерками продираясь сквозь
конский щавель и душистый клевер, сквозь папоротниковые кущи и крапивные дебри, змеятся,
вгрызаются в землю... вырастают в ручейки. И стремятся дальше – среди заячьей капусты
и волчьих ягод, среди черники, голубики, костяники, ежевики, – сливаются в ручьи, в реки.
И наконец, меж горных отрогов, мимо тихих пихт и сонных сосен с их ситтимовой корой
и смолой серебристой, по зелено-голубому мозаичному панно орегонского ельника, – несется
уже в полном смысле река, низвергается на пять сотен футов... и – поглядите: вырывается
на равнину.*

*На первый взгляд, если смотреть с трассы, сверху, из-за деревьев, – река металлическая,
словно алюминиевая радуга, словно пластинка латунной луны. Ближе – обретает плоть:
огромная ухмылка воды щерится обломанными, гнилыми клыками свай по обеим деснам и
пена липнет к губам. Еще ближе – река расстилается, как и подобает водной глади, ров-
ной, будто проспект, бетонно-серой, в оспинах дождя. Ровная, точно кропленный дождем
асфальт, даже в разлив, ибо русло ее глубоко, а ложе плавное: ни отмелей, где дыбятся пере-
каты, ни скал, что взрезают поток... вообще ничего, что выдавало бы движение, если не счи-*

татъ ключев желтоватой пены, гонимых ветром к морю, да подтопленных, но стойких роц с напружно согбенными стволами, что трепещут под беззвучным, мрачным напором.

Река, столь гладкая и тихая на вид, таит рапилильную решимость своего жестокого бега глубоко под гладью, ровной – и всегда столь спокойной. С виду.

По северному берегу идет шоссе, по южному – горная гряда. И ни единого моста на первые десять миль. И все же на том пустынном южном берегу высится старинный двух-этажный дом – над причудливой конструкцией из сплетенной стали, дерева, дерна и мешков с песком, подобный диковинной двухъярусной птице со взъерошенными перьями, свирепо нахохлившейся в своем вздыбленном гнезде. Обратите внимание.

Дождь струится по стеклам. Дождь сочится сквозь мглу желтого дыма, что валит в косое небо из печной трубы замишлого камня. Небо сереет, желтый дым сыреет. За домом, у косматой кромки гор, в ненастном мареве эти цвета сливаются, отчего сам склон сочится грязновато-зеленым.

По голому берегу, от двора до неумной реки, рыщет взад-вперед свора собак – поскуливают от холода и злого горя. Поскуливают – и лают на то, что болтается над рекой, вне их досягаемости, крутится-вертится на туго натянутом линьке, привязанном к еловому шесту... он торчит из верхнего окна.

Закрутится, замрет – и медленно раскручивается обратно, под проливным дождем, в восьми или десяти футах над водным потоком – рука человека, охваченная вервием на запястье (только рука, глядите). Свисает и словно тает в потертом плече, а ниже – будто невидимый танцор какой кружится в пируэтах перед зачарованной публикой (над водой же – лишь рука его вертится)... перед собаками на берегу, перед свистопляской дождя, перед дымом, перед домом, перед деревьями, перед толпой, сердито кричащей через реку:

– Стэммммперрр! Эй, да будь ты прроклят, мудило! Хэнк Стэммммперрр!

И перед всеми прочими, кто удосужится взглянуть.

Выше по течению, на востоке, шоссе идет еще по горам, где по-прежнему режут и ярятся ручьи и речки, – там и едет президент профсоюза Джонатан Бэйли Дрэгер, едет из Юджина к побережью. Станные у него чувства – распаленные, как он понимает, гриппозным жаром: вроде и полный разлад-раздрай, но голова по-прежнему ясная. И в день грядущий взирает он и с приятством, и с испугом. С приятством – ибо скоро он вырвется из сырых и грязных этих хлябей приречных, а с испугом – потому что обещал он отобедать на День благодарения в Ваконде, у председателя местной ячейки Флойда Ивенрайта. Дрэгер не чаёт, что визит к Ивенрайту окажется в радость: он уж наведывался пару раз в дом Ивенрайта по делу Стэмпера – и удовольствия не получил нисколько. Но все равно нет повода грустить: это будет последний визит по делу Стэмпера – последнему его делу на Северо-Западе, тьфу-тьфу. А уже завтра он отправится на юг, и пусть калифорнийское солнышко подсушит своим старым добрым витамином D эту мерзкую болотную сыпь. Вечно у него здесь сыпь. И грибок на ступнях, по самые щиколотки. Влажность. Ничего удивительного, что в этих краях за месяц загибается пара-тройка местных: тут ведь либо топиться, к черту, либо гнить заживо.

Хотя на самом-то деле – он обозревает картины природы, проплывающие перед лобовым стеклом, – эта местность представляется не такой уж паршивой, при всех своих дождях. Смотришь она даже мило и мирно, даже вполне уютно. Не так мило, как Калифорния, конечно, Бог свидетель, но климат куда лучше, нежели дальше на Востоке или на Среднем Западе. Благодатная даже земля – и жить здесь совсем не так уж трудно. И само это неспешно-мелодичное индейское название – нетрудное: Ваконда-Ауга. Ва-ко-онда-а-ага! И эти домики – что на этом берегу, у шоссе, что за рекой, – вполне милые такие домики, по ним и не скажешь, будто жилищное строительство в упадке. (Дома отставных аптекарей и скобяных торговцев, мистер Дрэгер.) И весь этот скулеж про ужасные тяготы забастовки... нет, эти домики плоховато вяжутся с «ужасными тяготами». (Коттеджи на выходные и летние дачи для тех, кто

зимует в Долине и зашибает довольно, чтоб с удобством выбираться в верховья на нерест лосося.) И вполне современные – для местности, которая иному покажется дикой. Прелестные поселочки. И современно, и со вкусом. В духе ранчо. А между рекой и домами оставлено место под пристройки. (*Оставлено место, мистер Дрэгер, под аннексии в пользу реки Ваконда-Ауга, составляющие шесть дюймов в год.*) Однако ж это непременно его удивляло: ни единого дома на самом берегу. Или, вернее, ни единого дома на берегу, за исключением проклятого дома Стэмперов. Казалось бы, сам бог велел строиться у реки, удобства ради. Но нет же – такая вот в этих местах странность...

Дрэгер вкручивает свой здоровенный «понтиак» в изгибы прибрежного шоссе. Чувствует жар, и негу, и приятную тяжесть в желудке, и удовлетворенность недавними достижениями, вяло размышляет о диковинности того, что каждый дом в его размышлениях своею диковинностью не диковиннее прочих. А дома-то знают, что такое житье у реки. Даже современные коттеджи на выходные и те знают. А уж старые дома, очень старые дома, сложенные из кедрового теса первыми поселенцами на закате прошлого века, – их-то давным-давно взгромоздили на катки и оттащили от края реки, одолжив лошадей и волов у соседей. Если ж дом был чересчур велик, его покидали, обрекали на сползание в реку, точившую фундамент.

Немало жилищ поселенцев сгнуло подобным образом. В первые годы все норовили отстроиться у самой реки, удобства ради, чтоб оказаться поближе к водному пути, к их Водному Тракту, как часто кличут реку пожелтевшие газеты в библиотеке Ваконды. Поселенцы спешили скупить прибрежные участки, не ведая, что их «тракт» имеет привычку отъедать куски берега со всем, что там есть. И понадобилось время, чтоб изучить реку с ее причудами. Послушайте:

– Сволочь она, точно говорю. О прошлой зиме хибару мою смыла. А в эту – сарай. Зуб даю! Все проглотила.

– Так вы не советуете строиться у реки?

– Я ничего не советую и ни от чего не отговариваю. Поступайте как знаете. А я рассказал, что сам видал. Вот и все.

– Но если, как вы говорите, она разрастается с подобной скоростью, то посудите сами: еще сотню лет назад здесь *вовсе* не было бы никакой реки!

– Ну, это смотря, с какой стороны поглядеть. Она ж ведь в оба конца течет, так? А может, это не река сносит землю в море, как нам тут правительство толкует? Может, это море гонит на землю волну?

– Черт. Вы полагаете? Но как такое возможно?..

Да, понадобилось время, чтоб узнать реку и научиться планировать строительство, соблюдая зону почтения к ее стабильному аппетиту, принося в жертву ее жадному росту сотню ярдов или около того. Зона эта не предписывалась никакими законами. И нужды в них не было. Но на протяжении целых двадцати миль, от самого Погибельного ущелья, откуда река вырывается на простор из цветущего кизильника, до поросших взморником берегов бухты Ваконда, где река принимает устье к морю, на берегах нет ни единого дома. Если не считать того проклятого дома, если не считать того единственного дома, не ведающего никаких зон почтения, *ни к кому*, и не согласного уступить реке хоть дюйм, не говоря уж про сотню ярдов. Этот дом стоит, где стоял; его не вздымали на катки, не оттащивали – и он не брошен, не затонул, став отелем для выдр и выхухолей. Он известен почти что на всем западе штата как Старое Гнездо Стэмперов, известен даже людям, ни разу его не видавшим, и высится он как памятник вымершему ландшафту, обозначая место, где когда-то проходил берег реки... Посмотрите.

Он, дом этот, вторгается в реку полуостровом собственного подбрюшья, неприглядной земляной насыпью, со всех сторон укрепленной бревнами, канатами, тросами, сермяжными мешками, набитыми цементом и камнями, сварными трубами, старыми стальными швеллерами и гнутыми рельсами. Древние, изъеденные червями сваи подперты белыми брусками,

не старше года. Свежие гвозди гордо сияют серебряными шляпками, не стесняясь соседства с допотопными корявыми костылями, поржавевшими до полного ничтожества. Кровельные листы гофрированного алюминия торчат из-под скелетов автомобильных рам. Обшарпанные листы фанеры прошиты бочарными клепками. И весь этот пестрый сброд удерживается в целости и накрепко приторочен к берегу паутиной из многожильных тросов и чокерных цепей. Паутина эта цепляется за четыре главных двухдюймовых, особо прочных, витой проволоки монтажных кабеля, привязанных к четырем здоровым анкерным елкам, что растут за домом. Заботливые прокладки оберегают деревья от немилосердных объятий троса, стволы страхуются оттяжками, что идут к столбам, намертво вколоченным в горную породу.

И в обычное-то время дом этот впечатляет своим видом: двухэтажная громада из бруса и упрямства, что не отступила перед лицом эрозии, не сдалась прожорливой реке. Сейчас же, в разлив, когда на другом берегу толпятся полупьяные лесорубы, припаркованы автомобили прессы, да патрульная машина, да пикапы, да заляпанные грязью желтые автобусы и каждую минуту новые машины съезжают на полосу между шоссе и рекой, дом являет собою поистине захватывающее зрелище.

Нога Дрэгера отпускает педаль газа, едва он выруливает из поворота и сцена открывается его взору.

– Господи боже мой! – стонет он, и его удовлетворенность уступает место горячечной меланхолии. И кое-чему еще: некоему сумрачному предчувствию.

«Ну и что на сей раз отчудили эти олухи? – задается он вопросом. И почти наяву видит, как солнце Калифорнии с его спасительным витамином D скрывается в тучах – еще на три-четыре недели переговоров, промоченных дождем. – О черт! Ну что там еще стряслось?»

Подъезжая ближе к берегу, сквозь мельтешение дворников по лобовому стеклу он приметывает знакомых: Гиббонс, Соренсен, Хендерсон, Оуэнз, а тот здоровяк в спортивной куртке, надо полагать, – Ивенрайт. Все лесорубы, все члены профсоюза, которых Дрэгер узнал за последние недели. Всего же в толпе человек сорок – пятьдесят, да еще кое-кто сидит на корточках в трехстенном гараже у самого шоссе; иные ж не вылезают из запотевших изнутри легковушек и джипов, выстроившихся вдоль берега, а прочие ютятся на ящиках под импровизированным навесом из рекламного плаката пепси-колы, выданного с корнем: «БУДЬ ОБЩИТЕЛЕН», – и бутылка, поднесенная к влажно-красным губам четырех футов в размахе.

Но в большинстве своем дурни торчат под дождем, видит Дрэгер, – хотя в гараже и под вывеской отнюдь не тесно. Они торчат под дождем, будто настолько свыклись с жизнью и работой в мокрядь, что уж и не отличают сухость от сырости. «Но что?..»

Он разворачивается через шоссе, подкатывает к толпе, приспускает стекло. На берегу стоит лесоруб в укороченных рабочих штанах и гребнистой дюралеевой каске, сложив ладони рупором, пьяно орет через реку: «Хэнк СТЭММММПеррр... Хэнк СТЭММММПеррр!» – столь самозабвенно, что даже не оборачивается, когда буксанувшая машина Дрэгера обдаёт его грязью из колеи. Дрэгер собирается заговорить с этим мужиком, но не может вспомнить его имени и потому катит дальше, в гущу толпы, где виднеется здоровяк в спортивной куртке. Дитина оглядывается и щурится на подъезжающий автомобиль, энергично растирает мокрую латексную физиономию крапчато-красной резиновой лапой. Да, это Ивенрайт. Все его пять с половиной поддрых футов. Он продирается к машине Дрэгера:

– Ну дык, гляньте-ка, парни! Тока гляньте! Посмотрите, кто к нам прикатил, чтобы прочитать мне новую лекцию о том, как подняться к вершинам в мире труда. Ну дык, очень мило, а?

– Флloyd, – доброжелательно роняет Дрэгер. – Ребята...

– Приятный сюрприз, мистер Дрэгер, – говорит Ивенрайт, с ухмылкой заглядывая в открытое окно, – что вы навели нас в этот злосчастный день.

– Сюрприз? А мне-то, Флloyd, думалось, меня тут ждут.

– Чтоб тебя! – Ивенрайт лупит кулаком по крыше машины. – Все так. На ужин Благодарения. Но видите ли, мистер Дрэгер, наши планы *чутьочку* изменились.

– Да? – говорит Дрэгер. Затем смотрит на толпу. – Авария? Кто-то в речку впилился по пьяни?

Ивенрайт оборачивается, чтобы сообщить приятелям:

– Мистер Дрэгер интересуется, ребята, не впилился ли кто в речку? – Он снова обращается к Дрэгеру и качает головой: – Не-а, мистер Дрэгер, у нас дела куда хлеще.

– Ясно... – Неторопливо, спокойно, не зная пока еще, как реагировать на тон собеседника: – Итак? Что именно стряслось?

– Стряслось? Ну дык, ничего не *стряслось*, мистер Дрэгер. Пока – ничего. И можно сказать, мы – мы с ребятами – здесь для того, чтоб и не стрясалось. Можно сказать, мы тут с ребятами утрясаем дела после того, как ваши методы провалились.

– Что значит «провалились», Флойд? – Голос по-прежнему спокойный, по-прежнему довольно дружелюбный, но... *это нездоровое предчувствие вздымается из желудка, охватывает легкие и сердце, подобно ледяному пламени.* – Не мог бы ты просто сказать, что происходит?

– Ну дык, бога в душу! – В голосе Ивенрайта брезжит изумление от догадки. – Он не в курсе! Ну дык, ребята, Джонни Б. Дрэгер вообще ни хрена *не в курсах*! Как вам, а? Наш вожак – и ни хрена не *слышал*!

– Я слышал только, что контракты составлены и без пяти минут подписаны, Флойд. Я слышал, что комитет заседал ночью и пришел к полнейшему согласию. – Губы у него совсем пересохли: *огонь добрался до гортани... О, дьявол! Стэмпер не мог...* Но он сглатывает и невозмутимо спрашивает: – У Хэнка изменились планы?

Ивенрайт снова лупит по крыше машины, на сей раз – сердито:

– Это охеренно мягко сказано – планы изменились! Да он просто вышвырнул их на помойку – вот как он изменил свои планы!

– Весь договор целиком?

– Да, *весь* ебанный договор! Именно! *Всю* сделку, в которой мы были так уверены, – *хлоп!* – и кирдык! Сдается мне, *на сей раз* ты пальнул в молоко, Дрэгер, ё-моё... – Ивенрайт трясет головой, гнев сменяется многозначительной мрачностью, будто он только что предрек конец света. – И сейчас мы топчемся на том же месте, где были и до тебя.

Несмотря на апокалипсический драматизм в тоне Ивенрайта, Дрэгер без труда различает триумфальные нотки за траурными словами. Конечно, понимает Дрэгер, жирный болван не может не позлорадствовать, пусть мое поражение – и его поражение. *Но с чего бы Стэмперу менять планы?*

– Ты уверен? – спрашивает он.

Ивенрайт опускает веки, кивает:

– Наверное, ты где-то слегонца просчитался.

– Как интересно, – бормочет Дрэгер, изгоняя тревогу из голоса.

Никогда не выказывай опасений – вот его неизменное правило. Запечатленное в записной книжке, в нагрудном кармане: «Поднятие тревоги при чем-либо менее значительном, нежели пожар или воздушный налет, неизбежно путает рассудок, расстраивает чувства и в большинстве случаев удваивает опасность». *Но в чем же этот «слегонца просчет»?* Он опять смотрит на Ивенрайта.

– В чем причина? Как он это мотивирует?

Лицо Ивенрайта снова комкается гневом.

– Я что, брат ублюдку? Или, может, его подружка? С чего ты взял, будто я... с чего ты взял, будто *хоть кто-то на этом ебаном свете* в курсе мотивов Хэнка Стэмпера? Бляха-муха!

По-моему, я уж и так немало попотел, когда расследовал его *действия*, чтоб вдаваться еще и в мотивы!

– Но ты ведь откуда-то узнал про эти действия, Флойд. Не бутылку же с запиской он в воду швырнул?

– Да почти что так. Лес Гиббонс позвонил мне из «Коряги» и сказал, будто слышал, как заходила жена Хэнка и сообщила Ли, этому ушлому его братцу, сообщила, что Хэнк собирается нанять буксир и сделать вроде как последний рывок.

Дрэгер смотрит на Гиббонса:

– А о причинах столь внезапного решения ты ничего не слышал?

– Ну, это... парень, похоже, знал, о чем речь, судя по тому, как хорохорился...

– Понятно. А его ты не расспросил?

– Ну, это... Да нет. Я просто позвонил Флойду и рассказал. А чего, думаете, надоть было?

Дрэгер барабанит пальцами по рулю, укоряет себя, что так глупо злиться на издевательскую невинность этого кретина. Должно быть, жар.

– Хорошо. Как полагаешь, если я пойду поговорю с парнем – он объяснит, почему Стэмпер передумал? В смысле, если я его спрошу?

– Сомневаюсь, мистер Дрэгер. Потому что его нет. – Ивенрайт держит паузу, ухмыляется. – Но жена Хэнка все еще там. Может, что и вытянете из нее, с вашими-то методами...

Мужики смеются, а Дрэгер, похоже, совсем заплутал в мыслях. Он теребит оплетку руля. Одинокая утка сквозит прямо над головами собравшихся, тараша на них лиловый глаз. Из-под консервных складов орут коты. Пару секунд Дрэгер оглаживает пластик замшей перчатки, потом снова поднимает глаза:

– А почему вы не попробовали связаться с Хэнком? И спросить его самого? В смысле...

– Связаться? Связаться?! Етить-колотить, а что, по-твоему, мы тут делаем? Не слышишь, как Гиббонс глотку надрывает?

– Я имел в виду – по телефону. Вы не пытались до него дозвониться?

– Само собой, пытались.

– И? Что он ответил? В смысле...

– Что он ответил? – Ивенрайт снова потирает физиономию. – Я покажу его ответ. Хови! Эй, подай-ка бинокль! Мистеру Дрэгеру хочется взглянуть на ответ Хэнка.

Мужик у воды неторопливо оборачивается:

– Ответ?..

– Ответ! Ответ! То, что он предъявил нам, когда мы попросили его... пересмотреть решение, так сказать. Дай сюда чертовы стекляшки – и пусть мистер Дрэгер сам поглядит.

Хови извлекает бинокль из-под свитера, серого, как дождь. Инструмент холодит руки Дрэгера даже сквозь лосиную кожу. Толпа подается вперед.

– Вон там! – победоносно тычет пальцем Ивенрайт. – Вон ответ Хэнка Стэмпера!

Дрэгер смотрит, куда указывают, и кое-что замечает в тумане: кое-что привязано к длинной палке, будто наживка на леске, и болтается перед старинным нелепым домом, там, на том берегу...

– И что это значит?.. – Он поднимает бинокль и прикладывается к окулярам, подкручивая пальцем резкость. Слышит, как мужики затаили дыхание. – Все равно я не... – Предмет расплывается, совсем теряется во мгле, выныривает, изворачивается – и вдруг попадает прямо в фокус, так четко, что воспаленное горло Дрэгера ошпаривает зловонным сернистым дымом. – Похоже на человеческую руку, но я все равно не... – И тут он чувствует, как семя давешнего предчувствия расцветает буйным цветом. – Я... что? – Он слышит, как его машину обволакивает липкий смех. Чертыхается и тычет биноклем в физиономию, перекошенную весельем. Судорожно поднимает стекло – однако смех доносится все равно. Ложится грудью на руль –

дворники мелькают прямо перед глазами. – Я поговорю с этой девочкой, с его женой... Вив, кажется? В городе... И узнаю... – И он вырывается из колеи на шоссе, прочь от этого смеха.

Стиснув зубы, виляет по губе ухмыляющегося берега. В смятении и ярости; никогда прежде его не выставляли на посмеище – ни такое вот сборище болванов, ни кто еще! Он в смятении и в тусклой, бешеной ярости – и обуреваем подозрением, что посмеищем сделался не только для ватаги придурков на берегу – плевать ему на их собачье мнение о нем! – но есть и еще один смешливый придурок, незримый в верхнем окошке того проклятого дома...

«Что же все-таки произошло?»

Кто бы ни вывесил эту руку на шесте, это определено была демонстрация столь же мрачно-ироничной презрительности, как и сам старый дом. И тот, кто решился вывесить руку на всеобщее обозрение, потрудился и подвязать к ладони все пальцы, кроме среднего. Этот же – оттопырил в известном жесте, недвусмысленно оскорбительном для всех, кто проезжает по дороге.

А в особенности – и Дрэгер не мог отделаться от такого ощущения – палец этот тыкал в него персонально. «Да, в меня. Чтоб унижить лично меня за... такую мою ошибку. За...» Тыкал, как однозначное опровержение всему, что Дрэгер почитал за правду, *знал* за правду о Человеке; словно кощунственная издевка над верой, выкованной в горниле тридцати лет, ясной и безусловной верой, отлитой за треть века работы с «трудом» и «капиталом», – почти религией, отлаженной, отглаженной, бережно обернутой, перевязанной красной тесемочкой пухлой папочкой правд о людях и о Человеке. Где *доказано*, что глупый Человек может отвергнуть все, кроме Протянутой Руки; что он выстоит перед любой напастью, кроме Одиночества; что во имя самых жалких, шатких и шизовых своих принципов он пожертвует жизнью, вытерпит боль, измывательства и даже самую лютую из всех американских тягот недостаток комфорта, но отступится от *самых твердых своих убеждений* ради Любви. Да, Дрэгер считал это доказанным. Он знал примеры, когда дубовой крепости фабричные боссы шли на самые дурацкие сделки, только бы над их прыщавыми дочурками не смеялись в местечковой средней школе. Видел, как самые упертые правые, ненавистники профсоюзов соглашались накинуть лишние полдоллара за час и включить в контракт медицинскую страховку, только бы не утратить сомнительного расположения дряхлой своей тетушки, играющей в покер с женой брата забастовщика, которого хозяин этот знать не знал и видеть не видел. Любви – во всех ее непростых проявлениях, как верил Дрэгер, – воистину подвластно все. Любовь – или Страх перед Отсутствием Ее, или же Боязнь Недополучить Ее, или Ужас Утраты Ее – безоговорочно себе все подчинит.

Для Дрэгера это знание было оружием; он усвоил истину эту в юности и четверть века с огромным успехом пользовался своим оружием, и переговоры шли как по маслу, и дела решались без запинки, без заминки, и покорение мира казалось удивительно простой, ясной и верной затеей, при такой-то литой вере в могущество этого оружия. И вот какой-то неграмотный лесоруб, со своей деляночкой и без единого заступника в целом свете, претендует на иммунитет к этому оружию! Господи, проклятая температура...

Дрэгер сутулится над рулем – человек, так гордившийся своею кротостью и сдержанностью, отрешенно наблюдает, как клонится вправо стрелка спидометра, невзирая на его попытки обуздать ее. Большая машина перехватывает управление у водителя. Сама собой разгоняется, не спрашивая его согласия. Мчится к городу с тревожным шипящим свистом мокрой резины. Мимолетно мелькают белые полосы. Ивы, трепещущие по обочинам, вибрируют, стремясь к полной неподвижности, – совсем как спицы на колесе несущегося голливудского фургона. Дрэгер, не снимая перчаток, нервно ерошит жесткий стальной ежик на голове, вздыхает, покоряясь своему предчувствию: если Ивенрайт сказал правду – а зачем ему врать? – это значит, что впереди еще недели вынужденного терпения, уже так его измотавшего, и снова, как за последний месяц, две из трех его ночей будут бессонными. Снова – вымученные улыбки, снова

– вымученные любезности. Снова – притворное внимание. И снова – присыпки для грибка на ступнях, уже достойного истории, хотя бы – истории болезни. Он опять вздыхает, сам себя утешая: черт возьми, в конце концов, все ж ведь имеют право на ошибку, хоть когда-нибудь. Но машина не сбавляет скорости, а в глубине его ясного и верного сознания, где уже расцвело первое скверное предчувствие и где покорность эта расстилается философически вялым мхом, набирает сок новый бутон.

«А если бы я не промахнулся?.. А если бы не просчитался?..»

Другой бутон. С лепестками сомнения.

«А может, не так уж прост этот болван, как я думал?»

А может, и другие болваны не так просты.

Он останавливает машину перед кафе «Морской бриз», чиркнув белобокими скатами по бордюру. Сквозь плывущее дождем лобовое стекло отсюда видна вся Главная улица, на полную длину. Пустынно? Только дождь и коты. Дрэгер поднимает ворот и выходит из машины, не теряя времени на пальто. Спешит через улицу к сочащемуся неоном фасаду «Коряги». Внутри, в баре, тоже вроде бы пустынно: музыкальный автомат подсвечен, играет негромко, *но не видно ни души. Странно... Неужто весь город сорвался с места, чтобы постоять в грязи и поработать посмешищем? Это как-то ужасно...* И тут он замечает у окна владельца – этакий жирный и унылый архетип бармена. Тот взирает на гостя из-под длинных загнутых ресниц.

– Ну и льет, а, Тедди? – И *этот* не так прост...

– Похоже на то, мистер Дрэгер.

– Тедди! – *Видите? Даже эта мелкая женоподобная жаба в обличье бармена – даже он знает больше моего.* – Флойд Ивенрайт сказал, что здесь я могу найти жену Хэнка Стэмпера.

– Да, сэр. – Дрэгер слушает указания человечка: – В самом конце зала, мистер Дрэгер, прямо перед подсобкой.

– Спасибо. Кстати, послушай, Тедди! Почему ты думаешь, что... – *Что... что?* Сколько-то секунд он стоит молча, даже не сознавая, что пялится на бармена, и тот краснеет под этим пристальным взглядом, и длинные ресницы его стыдливо опускаются на глаза. – Да ничего... – Дрэгер разворачивается и идет прочь: *я не могу его спросить. В смысле, он бы не смог ответить – даже если б знал, все равно не сказал бы...* – мимо музыкальной машины: она щелкает, жужжит, заводит новую песню:

Почто не обняла... и не пригрела?

Печаль не уняла... как прежде ты умела?

Ах, успокой мне сердце еще раз.

Вдоль по длинному бару мимо мягко мерцающей музыкальной машины, мимо шаффл-борда, сквозь разделенный перегородками сумрак пустых кабинок – и, наконец, в самом дальнем конце сидит девушка. Сама по себе. Со стаканом пива. Задранный кверху грубый ворот бушлата обрамляет худенькое мокрое личико. Мокрое? Никак не различить: не то от слез, не то от дождя, не то ей просто *слишком, чертовски тут жарко?* Ее бледные руки покоятся на большом малиновом альбоме... она смотрит на Дрэгера, ее губы подергиваются легкой улыбкой. *И она*, – Дрэгер кивает девушке, мысли его путаются, – *больше... чем я... Странно... что я мог думать, будто понимаю... так много.*

– Мистер Дрэгер... – Девушка указывает на стул. – Похоже, вам нужна информация?

– Я хочу знать, что произошло, – говорит он, усаживаясь. – И почему.

Она опускает взгляд на свои руки, качает головой:

– Боюсь, вы хотите знать больше, чем я могу рассказать. – Она поднимает голову и снова улыбается ему. – Честно; боюсь, я не в состоянии объяснить это «и почему»... – Улыбка у нее

кривоватая, но отнюдь не хамская, как ухмылки тех болванов на берегу; кривоватая, но в ней – искреннее сожаление, в чем-то даже приятная улыбка.

Дрэгер дивится злости, которую всколыхнул в нем ответ девушки, – *проклятый гринп!* – дивится частым ударам сердца и тону, взметнувшемуся ввысь из-под контроля:

– А этот недоумок, ваш муж, – он хоть *понимает*? В смысле, он понимает опасность сплава по реке без посторонней помощи?

Девушка продолжает улыбаться ему:

– Вы хотели сказать, понимает ли Хэнк, что подумают в городе о нем и его затее... Это вы хотели сказать, мистер Дрэгер?

– Это. Да. Да, именно так. Он в курсе, что рискует всех – *абсолютно* всех – восстановить против себя?

– Он рискует не только этим. Он может потерять и свою маленькую женушку, если будет упорствовать. Это с одной стороны. А может, и жизнь – с другой.

– И что?

Девушка пару секунд вглядывается в Дрэгера, потом делает глоток пива.

– Вам этого никогда было не понять. Вы просто хотите узнать причину. Или две-три причины. А причины эти возникли две-три сотни лет назад...

– Вздор. Я хочу знать только одно: почему он передумал.

– Для начала вам придется узнать, как он с самого начала это делал, разве нет?

– Что делал?

– Думал, мистер Дрэгер.

– Хорошо. В смысле, ладно. У меня много времени.

Девушка снова прикладывает к стакану. Закрывает глаза и убирает влажный локон со лба. Дрэгер вдруг понимает, что она невероятно устала – почти что в обмороке. Он ждет, когда она снова откроет глаза. Из уборной неподалеку разит хлоркой. Звуки музыкальной машины снова бьются в закопченные стены, обшитые сучковатой сосной:

...Разбитое сердце, пустая бутылка:

Пытаюсь забыться, вином заливаю...

Но в мыслях – по-прежнему ты, дорогая¹.

Девушка открывает глаза и поддегивает рукав, чтобы посмотреть на часы. Затем снова кладет руки на малиновый альбом:

– Знаете, мистер Дрэгер, в этих местах все по-другому. – *Вздор: мир везде одинаков.* – Нет. Не сердитесь, мистер Дрэгер. Правда. Мне и самой не верилось... – *Она читает мои мысли!* – ...но постепенно свылась. Вот. Давайте покажу вам кое-что. – Она открывает альбом: запах навевает ей мысли о чердаке. (Ох да, чердак. На прощанье он меня поцеловал, и болячка на моей губе...) – Это история семьи, вроде того. Наконец-то решила почитать. – (А я наконец-то допускаю... губы мои идут волдырями каждую зиму.)

Она двигает книгу по столу к Дрэгеру: это большой фотоальбом, разбухший от старых снимков. Дрэгер медленно раскрывает его – в нерешительности, как давеча прикладывался к биноклю:

– Но здесь же ничего не написано. Только даты и картинки...

– Включите фантазию, мистер Дрэгер; я так и сделала. Ну же, давайте, это занятно. Посмотрите.

Девушка переворачивает книгу, чтобы ему было удобно, кончик ее языка выглядывает из уголка рта. (Каждую зиму, что провожу здесь...) Дрэгер склоняется над альбомом: освещение

¹ «В мыслях по-прежнему ты» («You're Still on My Mind») – песня Льюка Макдэниела.

скудное. *Вздор, она знает не больше, чем...* Он перелистывает пару страниц с лицами, машина булькает:

Одинокую тень я бросаю,
Одинокие песни пою...

Дождь снова барабанит по крыше. Дрэгер отодвигает книгу, затем снова подтаскивает к себе. *Вздор. Она не...* Он ерзает на деревянном стуле, устраиваясь поудобнее, надеясь превозмочь непокорное головокружение, которое ускорялось в нем с того самого мига, когда он подкрутил настройку резкости на бинокле.

– Ерунда! – *Но вот в чем беда, вот в чем вся беда...* – Бессмыслица какая-то. – Он снова отталкивает книгу. *Чушь все это.*

– Вовсе нет, мистер Дрэгер. Гляньте. – (Каждую клятую зиму...) – Давайте пролистаю перед вами летопись семьи Стэмпер... – *Балаболка, какое касательство имеет прошлое...* – Вот, например, тысяча девятьсот девятый год, давайте прочту. – ...к *делам настоящим?* – Читаем: «В то лето был кровавый прилив, что перепортил всех мидий, погубил с дюжину индейцев и троих из нас, христиан». Представьте только, мистер Дрэгер. – *Однако ж дни все одинаковые, черт возьми* (дни, что шуршат мягкой влажной наждачкой меж пальцев, безмолвные и податливые клыки времени, перемалывают); *и лето – всегда лето.* – Или вот... поглядите: зима тысяча девятьсот четырнадцатого, когда замерзли все реки. – *Зимы – тоже все одинаковые.* (Здесь каждую зиму плесень, видишь, как она лизет плинтусы сонным своим серым языком?) *Или, в сущности, не отличаются одна от другой* (каждую зиму – плесень, сыпь на коже, лихорадка на губе). – И нужно пережить одну такую зиму, чтобы получить хоть какое-то представление. Вы слушаете, мистер Дрэгер?

Дрэгер вздрагивает:

– Конечно! – (И девушка улыбается.) – Конечно, продолжайте. Просто... машина эта... – Булькает: «*Одинокую тень я бросаю, одинокие песни пою...*» Не то чтобы громко, но... – Но да, я слушаю!

– А фантазию включили?

– Да, да! Так что... – ...*мне в годах тех минувших, что меняют они?* (каждую зиму – новый тюбик «блистекса» для губ) – ...вы говорите? – «*Ты ушла – ну и что ж: без тебя я пою...*»

Девушка закрывает глаза, будто впадает в транс:

– Сдается мне, мистер Дрэгер, «почему» кроется глубоко в прошлом... – *Чепуха! Вздор!* (И все же – каждую зиму... Чувствуешь, как уже нарождается язвочка на нижней губе?)

– Припоминаю, дед Хэнка, отец Генри... дайте-ка подумать... – *Но. Возможно.* (Непреклонно.) «*Одинокая тень моя.*» – Конечно, там есть... – *Тем не менее.* (И все же.) – С другой... – Стоп... стоп.

СТОП! НЕ ПАРЬСЯ. ПРОСТО СДВИНЬСЯ НА ПАРУ ДЮЙМОВ ВЛЕВО ИЛИ ВПРАВО – И БУДЕТ ДРУГАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ. Погляди... *Реальность – нечто большее, нежели сумма ее составляющих, да и чертовски святее. А жизнь того же вещества, что наши сны, может, и окружена сном², да только не обвязана аккуратно красной лентой с бантиком. И правда прибывает не всегда вовремя, как электричка... однако ж само время, бывает, работает на правде... И Сцены Прошлого, и Будущего Сцены мешаются в потоке воедино, в морских темно-зеленых хлябях, а Настоящее кругами разбегается по глади. Вот потому и не парься. Ведь сместить нетрудно фокус вперед или назад на пару дюймов. И снова... погляди...*

Вот бар ненавязчиво разверзается сферическими волнами, теснящими дождь.

² Аллюзия на слова Просперо. Шекспир У. Буря. Акт IV, сцена 1. Перевод М. Донского.

1898 год, Канзас, пыльный вокзал. Солнышко читает по губам яркий золотой вензель на двери пульмана. Вот стоит Йонас Арманд Стэмпер. Его долговязая фигура подпоясана лоскутом пара, отчего похожа на черный флагшток, обернутый приспущенным вымпелом. Он стоит у позолоченной двери, чуть наособицу, в одной стальной руке его зажата черная шляпа с плоскими полями, в другой – черная книга в кожаном переплете. Он молча наблюдает прощание супруги и троих мальчиков с остатней родней. Крепкое, солидное семейство, думает он, крепкое и солидное, как накрахмаленный миткаль на них. Весьма внушительное собрание. Но при этом он знает, что в глазах полуденной толпы на станции сам он смотрится куда крепче, солиднее и внушительнее, чем все прочие, вместе взятые. Его волосы, длинные и глянцево-черные, выдают индейскую кровь; его брови и усы точно горизонтальны, будто начерчены по линейке толстым грифелем на ширококостном лице. Упрямый подбородок, жилистая шея, могучая грудь. И хотя ему недостает нескольких дюймов до шести футов, осанка его такова, что кажется он куда выше. Да, впечатляет. Крепко-чопорный, кожаного переплета, стального сердечника патриарх, бесстрашно ведущий свое семейство на Запад, в Орегон. Упрямый первопроходец, вышедший в поход к новым, девственным пределам. Впечатляет.

– Береги себя, Йонас!

– Бог убережет, Нат. Во всех делах наших промысел Божий.

– Хороший ты мужик, Йонас.

– Господь своих не оставит, Луиза.

– Аминь, аминь.

– Угоден Господу путь твой.

Он сдержанно кивает, разворачивается, собираясь сесть в поезд, и видит троих своих мальчиков... Глядите-ка: все ухмыляются. Он хмурится, напоминая, что, как бы ни ратовали они за переезд из Канзаса в глухомань Северо-Запада, решение было – *его*, и ничье более, ибо лишь *он один* вправе решать и разрешать, и упаси их бог забыть об этом!

– На то воля Господа! – повторяет он, и двое младших мальчиков опускают глаза.

А старший, Генри, смело встречает отцовский взгляд. Йонас порывается что-то сказать, но есть в лице мальчика нечто такое, нечто настолько вопиюще победоносное и богохульное, что слова застревают в горле бесстрашного патриарха, хотя лишь много после понимает он в полной мере этот взгляд. *Нет, Йонас, ты понял в тот же миг. Печать сатанинской лукавой ухмылки. Тебе ведом был этот взгляд, и кровь твоя застыла в жилах, когда ты увидел, чему, пусть ненамеренно, оказался сопричастен.*

Кондуктор дает звонок. Двое младших мальчиков, прошмыгнув мимо отца, забираются в вагон, бормочут благодарности, спасибо-вам-пребольшое, за снесь в бумаге, что суют им родственники. За ними – мать, глаза на мокром месте, сама на взводе. Поцелуи в щечку, последние рукопожатия. За ней – старший сын, кулаки – в карманах брюк. Внезапно поезд дергается, отец хватается за поручень, заскакивает на подножку, воздевает руку помахать родне:

– Прощайте!

– Не забывай писать, Йонас, слышишь?

– Напишем. Вы и сами скоро вслед за нами двинетесь.

– Прощайте... прощайте.

Он разворачивается, готов уж взойти по раскаленным железным ступеням – и опять ловит взгляд Генри.

– Господь милостив, – шепчет Йонас, сам не зная к чему. *Да нет же, будь честен: ты знал к чему. Ты знал, то был грех твоей семьи, что вырвался из геенны, и знал, какова твоя в нем лепта, знал точно так же, как знал, что за грех.* – Прирожденный грешник, – бормочет Йонас, – с рождения проклятый.

Ибо и в твоём поколении, Йонас, семейная летопись дочерна замарана тем же грехом: *Ты знаешь этот грех. Клеймо Скитальца. Клеймо Бродяги; жгучее Клеймо Вероотступника, отвергающего жребий, ниспосланный Господом...*

- Да зуд у них в ногах! – спорят добродушные.
- Идиотство! – громыхают упертые. – Святотатцы!
- Просто бродяги.
- Болваны! *Болваны!*

Переселенцев – вот кого являет миру история этой семьи. Жилистое, сухопарое племя упрямых непосед, стремящихся на закат, являет их разрозненная история. Много кости, мало мяса – и в вечном движении с того самого дня, когда первый тощий иммигрант Стэмпер сошел с корабля на восточный берег материка. В движении целеустремленном, будто в трансе. Поколение за поколением скачками перебирались они на запад по просторам юной Америки; не как первопроходцы, несущие Божий труд свой в языческие земли, и не как фантазеры, торящие путь растущей нации (хотя частенько Стэмперы скупали фермы обескураженных первопроходцев и табуны разочарованных фантазеров, обращавших стопы свои обратно к хорошо проторенной Миссури), но просто – клан жилистых людей, с их вечным зудом в ногах, с их идиотством, склонностью к дурацким скитаниям, с верой в то, что за долами трава зеленее, а за холмами елки прямее.

- Еще бы. Вот через этот холм переберемся – а там и сесть-посидеть в самый раз.
- Точно. Там у нас будет вдосталь времени...

Но неизменно, как только отец семейства срубал последнее дерево и выкорчевывал последний пенёк на делянке, а мать семейства наконец-то расстилала на полу льняной коврик, о котором так давно мечтала, какой-нибудь шпанистый семнадцатилетка с квакающим голоском выглядывал в окно, поскребывал сухой свой живот и изрекал:

- Знаете... мы могли бы сыскать надел *получше*, чем эти кочки-коряги.
- Сыскать получше? Сейчас, едва мы встали на ноги?
- Думаю, да.
- Что ж, ты, может, и найдешь. Хотя, если честно, сомневаюсь я в этом. А мы с отцом и с места не двинемся!
- Как угодно.
- Нет уж, мистер Скипидар в Одном Месте! Мы с твоим отцом сыты по уши!
- Вот я и говорю, как вам угодно, потому что я двигаю дальше. А вы со стариком – как знаете.

– *Минуточку*, дружок...

– Эд!

– А ты, женщина, осадил назад: не надо тут за меня говорить, что я намерен делать. Ладно, дружок, из чистого любопытства: что конкретственно у тебя на уме?

- Эд!
- Молчи, женщина: я с сыном толкую.
- Ох, Эд...

И на месте оставались только старики и больные, неспособные идти дальше на запад. Слишком старые, слишком больные или же, если говорить о семейной истории в целом, слишком мертвые. Ибо если кто-то подхватывался в путь – подхватывались все. И сердечки из-под монпансье на чердаках набиты волнующими путевыми хрониками, разящими табаком.

«...воздух здесь в самом деле свежий».

«...а дети прекрасненько учатся, и поверьте уж, нечего убиваться из-за такой оторванности от цивилизации».

«...ждем вас, ребята, в гости сюдой в скорехоньком времени, слышите?»

Или же – свидетельства тоски беспокойного духа:

«...Лу мне говорит не обращать на тебя внимания, потому что ты-де и Оллен и все остальные только палки нам в колеса сувае, но я не знаю и сказал ей – не знаю. Я сказал ей, во-первых, что пока не готов тут осесть, мол, не знаю, как тут все пучком и правда ли, что от добра добра не ищут. Поэтому я чуток еще пораскину мозгами...»

Так они и перемещались. И пусть с прошествием лет какие-то ветви семейства замедляли бег, преодолевая за жизнь поколения каких-нибудь миль десять-пятнадцать, все равно путь их лежал на запад. А кое-кого уж настойчивым внукам приходилось вытаскивать из развалюшных хором. А кое-кому со временем даже удавалось родиться и умирать в одном и том же городке. Затем наконец появились Стэмперы заметно более практичного склада; Стэмперы с головами достаточно холодными, чтоб остановиться, оглядеться; рассудительные, вдумчивые Стэмперы, сумевшие изобличить свою семейную черту, нарекиши ее «изъяном в породе», и взявшиеся за ее исправление.

Эти трезвомыслящие ребята приложили немало сил к тому, чтоб одолеть изъян, в самом деле потрудились, чтобы раз и навсегда прекратить это бессмысленное «всуешагание» на запад, остановиться, осесть, пустить корни и довольствоваться тем, что судил им великий Господь. Такие вот разумные люди.

– Что ж, *теперь* ладно... – Остановились на плоских равнинах Среднего Запада, открытых взору во всех направлениях. – Ладно. Наверное, незачем дальше идти. – Остановились и сказали: – Пора уж положить конец глупости, помыкавшей нашими предками; коли можно остановиться, оглядеться окрест и увидеть, что слева не лучше, чем справа, а впереди не больше полыни и ковыля, чем за спиной, и за тем холмом равнина не ровней всех прочих, что мы прошагали за две сотни лет, – так и *на кой же ляд* идти куда-то еще?

И если никто не мог привести уважительной причины, эти прагматики сухо кивали и топтали истертым башмаком по дощато-ровной земле:

– Да, все пучком! Все, что надо, ребята, тут, у нас под ногами. От добра добра не ищут.

Их неумная энергия потихоньку отыскивала выходы более разумные, нежели скитания, более практичные, нежели походы: торговля, община, церковь. Они обзаводились банковскими счетами, портфелями и мандатами местного разбора и даже – эти-то жилистые ребята – пивными животиками. Портреты таких господ можно найти в коробках на чердаках: черные костюмы решительно напряжены против ширм салона светописи, рты жесткие, непоколебимые. Письма: «...мы забрались уж достаточно далеко».

И сидят они в кожаных креслах, подобно выкидным ножам, готовым сложиться в ножны. Накупили семейных участков на кладбищах – в Линкольне, в Де-Мойне, в Канзас-Сити, эти прагматики. Наказывали по почте огромных и пухлых бордовых честерфильдов для своих гостиных...

– Эхма. Так-то. Житуха – что надо. И пора бы уже.

И все лишь затем, чтобы вновь двинуться дальше по воле первого же юноши с пламенным взором, что сумеет навесить свои мечты на отцовы уши. *Согласись: ты уже тогда при- знал этот взгляд*; до первого сопливого непоседы с лягушачьим голосом, способного убедить Папашу в том, что на западе трава зеленее, чем здешние кочки-коряги. И вновь – трудный, неустанный поход... *тебе ведь знаком этот взгляд, ты мог уберечь нас от боли сердечной...* подобно стаду, гонимому засухой, неутолимой жаждой, – *но не уберег*, – стремятся они за мечтой о стране, где вода на вкус как вино:

А в Спрингфилде вода – что креозот,
Дорогой пыльною шагаю я вперед³.

³ «Шагаю дальше по пыльному шоссе» («Blowing Down That Old Dusty Road», 1963) – песня американского фолксингера и автора песен Вуди Гатри.

В путь, в путь – покуда вся семья, весь клан не уперся в соленый вал Тихого океана.

– И дальше куда?

– Хер знает – да и вода тут на мочу больше смахивает, никак не на вино.

– Так *дальше* куда?

– Без понятия! – Затем с отчаянием: – *Куда-нибудь, отсюда подальше!* – С лихой и безысходной усмешкой: – Главное – прочь отсюда, там видно будет.

– Презревая жребий, что назначил Господь, – бормочет Йонас, – ведомые проклятьем. – *А ведь ты мог уберечь семейство от этой напасти – поиска заветной земли. Ибо ныне знаешь, что все это суета сует и томление духа. Стоило лишь сразу собрать всю свою волю в кулак, когда впервые заметил этот лукавый дьявольский оскал в ухмылке Генри, тогда, на станции, – и ты бы всех нас уберег от беды.* Он поворачивается к сыну спиной и машет рукой отаре братьев и кузин, шагающих за поездом, набирающим медленно ход.

– Смотри, Йонас, будь внимательней. Не тирань Мэри-Энн и ребятишек без нужды. Земля-то там суровая!

– Хорошо, Натан.

– Смотри не попадайся злющим орегонским медведям да индейцам, хи-хи-хи!

– Типун тебе, Луиза.

– Напиши, как только обоснуетесь. А то в нашем Канзасе тоска зеленая да трава жухлая.

– Хорошо. – *Ты все еще мог бы остановиться, если б только собрал волю в кулак.* – Напишем и все вам доложим.

– Так-то. Медведи и индейцы, Йонас! Живыми не давайтесь!

Как обнаружил Йонас Стэмпер, орегонские медведи вполне довольствовались моллюсками и ягодами, были жирными и ленивыми, как старые коты. Индейцы, питавшиеся теми же двумя неисчерпаемыми продуктами, были еще жирнее и куда ленивей медведей. Да. Они оказались довольно-таки мирными. Как и медведи. И в целом страна паче чаяния оказалась весьма мирной. Но все же Йонаса снесло это странное... *подспудное* чувство, возникшее в первый же день по прибытии, возникшее и проникшее в душу и никогда уж более не покидавшее его все три года, что он прожил в Орегоне.

– И что такого сурового в этих землях? – озадачился Йонас, когда они прибыли. – Просто нужен человек, который приведет этот край в чувство.

Нет, не медведи и не индейцы доставали сухопарого стойка Йонаса Стэмпера.

– Отчего ж здесь до сих пор все так неприкаянно? – недоумевал Йонас по прибытии.

Другие же недоумевали по его отбытии:

– Скажите, а Йонас Стэмпер не здесь проживает?

– Жил, да сплыл.

– Так-таки взял и сплыл?

– Так-таки взял да слинял.

– А с семьей что случилось?

– Они по-прежнему здесь, хозяйка да три парня. Тутушний народ им вроде как пособляет держаться на плаву. Стоукс, Старина Гастроном, чуть не каждый день им чего-нибудь отсылает. У них там вроде как дом выше по реке...

Йонас заложил большой каркасный дом через неделю после того, как они поселились в Ваконде. Три года, три коротких лета и три долгих зимы он разрывался между своим магазинчиком «для-сева-и-для-зева» в городе и участком за рекой под застройку – восемь акров плодороднейшей поймы, лучшая земля в округе. Он купил участок еще до исхода из Канзаса, по Закону о земле 1880 года – «Селитесь у Водного Тракта!», – купил не глядя, доверившись проспектам, объяснявшим, что берег реки – идеальное место для патриарха, пожелавшего исполнить волю Господа. Гладко было на бумаге.

- Значит, взял и слинял, хех? Не похоже на Йонаса Стэмпера. И ничего не оставил?
- Семью, лавку, всякую всячину и полный ушат сраму.

Чтоб оплатить переезд, он продал лавку кормов в Канзасе, отличное заведение, где стояло бюро с выдвижной крышкой, набитое счетными книгами в кожаных переплетах. Деньги переслал заранее, так что, когда прибыл, они уж поджидали его, зелененькие и растущие, как все в этой новой благодатной земле, на этих новых *манящих рубежах*, о которых он вычитал в проспектах, что притаскивали с почты его мальчишки еще в Канзасе. Проспекты переливались красным и голубым, звенели дикими индейскими именами, подобными птичьему гомону в расветном лесу: Накумиш, Нагайлем, Чалси, Силкуз, Неканикум, Ячат, Сисло – и Ваконда, у бухты Ваконда, на Тихой и Щедрой реке Ваконда-Ауга. Где (как утверждали проспекты) Сумеет Каждый Свой Оставить След И Жизнь Начать Сначала. Где (как убеждали проспекты) Море Сине, Луга Раздольны, А Люди И Деревья Дышат Вольно! Там, На Великом Северо-Западе (разъясняли проспекты), Есть Простор Для Величия, Что Заключено В Твоей Душе!⁴

Да, на бумаге-то все *гладко*, но едва он с этим столкнулся, как увидел воочию, что было... в этой реке и в лесах, в этих тучах, бодающих горы, в этих деревьях, прободевших земную плоть... нечто. Не то чтобы местность суровая – но такое, что можно понять лишь после первой зимовки.

И как раз этого ты не знал. Да, ты знал обличье проклятой жажды странствий, но не ведал, в какое пекло заведет тебя эта жажда. Для осознания требовалась хоть одна зима...

– Охренеть. Взял да ушел. На прежнего Йонаса это совсем не похоже.

– Я б не стал его строго судить. Во-первых, тут хоть один сезон дождей нужно прожить, чтоб уразуметь, что к чему.

Чтобы понять, надо провести тут зиму.

Во-первых, Йонас в упор не видел того раздолья, о котором толковали проспекты. Нет, оно тут было, Йонас это знал. Но раздолье оказалось не того сорта, как представлял себе Йонас. А во-вторых, в этих землях не было ничего, ровным счетом ничего, что позволило бы человеку ощутить свою Величину и Величие. В лучшем случае карликом чувствовал себя человек, не важнее рыбаков-индейцев, ютившихся на илистом взморье с моллюсками. Эко Величие. Да в этой благословенной земле руки опускались раньше, чем ноги сделают шаг. Дома, в Канзасе, все было в *руках* человека, как Господь и *назначил* чадам своим: если не орошать поле, урожай погибнет. Если не пасти стадо, скот падет. Все как полагается. Но тут, в этой земле, все труды казались тщетны. Флора и фауна росли и гибли, крепили и чахли с *полнейшим* презрением к человеку с его чаяниями. Каждый Сумеет Оставить Свой След, пели они тебе? Вранье, вранье. Пред Господом свидетельствую: человек может трудиться здесь в поте лица всю свою жизнь – и *никаких* следов не останется! Вообще! Ни единой отметины не запечатлится! Как есть истина.

И нужно прожить здесь хотя бы год, чтобы постичь, сколь суетна твоя блажь.

Истинно так: тут не было ничего постоянного. Даже городок был недолговечен. Истинно так: все – суета и томление духа. Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки...⁵ Пребывает – насколько позволяют дожди.

Нужно выбраться поутру из-под теплого ватного одеяла, не тревожа супругу и детейшек, да ступить из вежи в глухой зеленый туман. И не на берег реки Ваконда-Ауга ступаешь, но в некий мгlistый, потусторонний сон...

И я прохожу, и этот проклятый городишко, этот жалкий клочок грязи, все реже мелькавший в просветах деревьев, пройдет. Я познал это уже в тот миг, когда узрел его. Я знал это, когда жил, знал, когда смерть прибрала меня, – и теперь знаю.

⁴ С разрешения Кена Баббса. (Прим. авт.)

⁵ Екк. 1: 4.

Полог тумана свисает с низких кленовых ветвей изодранными кисейными клочьями. Нити тумана ниспадают с сосновых иголок. Выше, над сплетением ветвей, небо голубое и безмятежное, предельно ясное, а на земле – туман. Он ползет по реке и обнимает дом за опоры, обволакивает новехонькие изжелта-кукурузные доски мягкими белыми губами. Слышится негромкое шипение – не то чтобы неприятное, что-то вроде задумчивого причмокивания...

Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем⁶, когда деревья и мох вечно алкают вернуть себе труды его? Вечно алкают, покуда не почувствует душа, что град сей есть узилище с зелеными острожными стенами лозы и терниев, и вечно придется работать, день за днем напролет, лишь затем, чтоб удержать жалкие плоды труда своего; работать вечно день за днем, лишь ради слякотного пола под ногами да кровли облаков, порой столь низких, что заставляют ходить согбенным... Пол, да кровля, да зеленые древесные стены острога. Истинно так. Город? Пусть он растет – но пребудет ли? Пусть он растет, ширится и число жителей множится – но пребудет ли? Нет. Вековечный лес, и грязь, и река все равно одолеют, ибо они суть порождения земли. А город – дело рук человеческих. Истинно так. Не пребудет новое, человеком сотворенное. Разве есть в этих краях такое, о чем можно сказать: смотрите, вот это новое? Нет, все сущее здесь – было уже в веках, бывших прежде нас⁷. Истинно так.

...Позевывая, бредешь ты к дому, по пояс в дымке, стелющейся по земле, теряешься в смутных сомнениях: то ли спишь – а то ли и не спишь, то ли гредишь – а то ли и не гредишь. Явь ли это? Земля под глухим ватным одеялом – вроде сон, эта пушистая тишина подобна безмолвию во сне. Воздух так недвижим и тих. И лисицы не лают в лесах. И вороны не каркают. И утки не летят над рекой. И ни единой ноты еще не взял обычный рассветный вестерок на листьях крушины. Очень тихо все. Если не считать того ненавязчивого, прелестного влажного посвиста...

А простор? Разве проспекты не говорили, что есть тут где разгуляться душе? Возможно, да только если со всех сторон эти адские дебри, душа рискует в них заблудиться. Ведь не видно ж ничего дальше пары сотен шагов, куда ни глянь. Дóма, на равнинах: вот там – просторы. Согласен – на равнинах чувствуешь щемящий холод в животе, когда озираешься окрест и видишь только то, что было прежде, да полынь, сколько хватает глаз. Но воистину можно *освоиться*, привыкнуть и *освоиться* с пустотой – точно так же, как осваиваешься с холодом или мраком. Здесь же, где... здесь, где глаз упирается в поваленные деревья, гниющие подо мхом, в дождь, вечно жующий ландшафт, в реку, что течет в море, а море все никак не наполнится... во все это... в такое, как... слов нет у души... во все эти кустики-лютики, в птичек-зверюшек, рыбок и насекомых! Нет, речь не об этом. Во все, чему *конца-краю* нет. Разве не видите? На меня это все навалилось столь мощно и стремительно, что я сразу понял: никогда мне с этим не освоиться! Впрочем, речь опять же не об этом. Я просто хочу сказать, что не мог поступить иначе, – выбора не было; Бог свидетель... У меня не было выбора!

...Забывшись в движении, сунешь руку в короб с гвоздями и достанешь несколько. Зажимаешь их зубами, подхватываешь молоток, идешь вдоль стены, над которой трудился, отрешенно размышляя: вспорет ли стук молотка эту перинную тишину или же будет съеден туманом, утонет в реке? Ты замечаешь, что ступаешь на цыпочках...

По прошествии второго года Йонаса неудержимо потянуло из Орегона на родину, в Канзас. По прошествии третьего года тоска эта уже углем жгла его изнутри, постоянно. Но он не осмеливался поведать о ней своей семье, особенно первенцу. Три года дикости и дождей, размочившие в Йонасе тугой, солидный крахмал равнинного жителя, его сыновей, напротив, напитали крепостью зарослей ежевичника. Три мальчика росли и росли в этой глуши, как про-

⁶ Екк. 1: 3.

⁷ Парафраз Екк. 1: 10.

чая флора и фауна. Росли не физически – нет, они, как и большинство в роду, были низкорослы и жилисты, – но становились жестче, крупнее с виду. Они видели, как после каждого нового паводка в неистовых глазах отца все пуще разгоралось отчаяние, в то время как собственные их глаза обращались в зеленое стекло, а лица бронзовели крепкой кожей.

– Бать, – бывало, спрашивал Генри с улыбочкой, – что-то вы невеселы. Какая печаль-то?

– Печаль? – Йонас скользил пальцем по Библии. – «...Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь»⁸.

– Вот как? – Генри пожимал плечами и уходил, пока отец не успевал развить мысль. – Подумать только.

На темном чердаке лавки кормов мальчишки шепотом перешучивались насчет дрожи в отцовских руках и визгливых срывов голоса, некогда туго переплетенного в кожу, как молитвенник перед проповедью.

– Он все больше смахивает на течную суку: глаза блестят, губы трясутся, дергается весь. – И они смеялись в подушки, набитые кукурузной оберткой. – У него будто чесотка, весь извелся. Знаете, что он путается с красномясыми в Сискилу? А уж там у любого зачесется, точно вам говорю.

Шутили и смеялись, но за их ухмылками уже тогда сквозило презрение к старому Йонасу за то, что уже тогда старый Йонас обречен был совершить.

...Идешь вдоль стены, смазывая плечом бусинки свежей смолы, самоцветами высыпавшие на свежей древесине. Идешь медленно...

В самые сильные холода семья жила в городе, в лавке кормов, а в остальное время – в большой палатке на том берегу, где они строили дом, который, как и все на той земле, рос и рос месяц за месяцем – с неторопливым, немим упорством, будто наперекор всему, чем Йонас мог замедлить этот рост. Самый дом начинал угнетать Йонаса. Чем больше он становился, тем больше росли отчаяние и безысходность Йонаса. Вот стоит на берегу это проклятое строение, огромное, некрашеное, без души, без Бога. С незастекленными окнами дом напоминал деревянный череп, взирающий на катящую мимо реку черными глазницами. Больше похожий на гробницу, нежели на дом. Больше похожий на обитель *мертвых*, думал Йонас, нежели на место, где «жизнь начать сначала». Ибо земля эта была пропитана смертью, эта изобильная земля, где деревья росли на глазах, где Йонас сам видел, как гриб проклюнулся сквозь тушку утопшего бобра и уже через несколько неумовимых часов распростерся над ней своей шляпкой, – эта благодатная земля сплошь пропитана влажной и жуткой смертью.

– Бать, ей-богу, вы какой-то край затурканный, точно говорю. Хотите, заскочу к Гриссому за вашими солями, когда в городе буду?

Пропитана и *переполнена*! Чувство это преследовало Йонаса наяву и кошмарами терзало по ночам. О Иисусе, свет животворящий, – наполни мрак. Его душило. Его топило. Ему казалось, что как-нибудь он проснется туманным утром с глазами, поросшими мхом, а одна из дьявольских поганок в этой хмари прободает его собственную грудь.

– Нет!

– Что, бать?

– Я сказал, не надо солей. Лучше – чтобы заснуть! Или проснуться! Или – или чтоб развезть эту *хмарь!* — *...свисающую с рук-суков серыми затхлыми стягами. Во сне скользишь вдоль дощатой стены, глаза шарят по зашторенному утру... Слизни выводят на досках блестящие в ночи письма. Этот шиповник говорит тебе о чем-то многими своими медленными пальцами... о чем? о чем?* Постное лицо его клонится, вырванное из сна, а он идет вдоль стены, он подносит руку ко рту, где поседевшие усы щетинятся гвоздями. Вот он останавливается, рука по-прежнему поднята, лицо по-прежнему склонено. И подается вперед, тянет шею, силясь

⁸ Екк. 1: 18.

различить нечто в нескольких ярдах впереди. Туман, устилающий реку, задрал уголок, разверзся маленьким круглым окошком. В эту брешь Йонас видит, что за ночь в берегу появилась еще одна вымоинка. Еще несколько дюймов грунта сгнули в реке. От этой вымоинки – и тот шипящий присвист: так река с восторженной невинностью взасос целует берег, отрывая от него новые кусочки. Йонас смотрит, и вдруг его осеняет, что это не берег уступает дорогу реке, как можно подумать. Нет. Это река разрастается вширь. И через сколько же зим своенравное течение доберется до фундамента, подле которого стоит сейчас Йонас? Десять лет? Двадцать? Сорок? Да какая, в сущности, разница?

(Ровно сорок лет спустя на мол неподалеку от рыболовной станции заехала машина. Автомобильное радио разбрасывало гнусавые переборы хиллбилли над бухтой, усеянной чайками. Два моряка на побывке после тихоокеанского похода травили своим ахающим зазнабам несусветные байки о зверствах япошек. Вдруг морячок на переднем сиденье замолк и ткнул пальцем в желтый пикап, застывший на косогоре у самого края воды:

– Гляньте-ка, уж не старик ли это Генри Стэмпер со своим сынком Хэнком? Что это за хрень у них в кузове?)

Будто во сне, по-прежнему пляясь вниз, на вымоину, Йонас проводит языком по шляпкам гвоздей, что у него во рту. Хочет вернуться к дому, но снова замирает, и лицо его озадаченно хмурится. Он берет один из гвоздей квадратнойковки и подносит к глазам. Гвоздь тронут ржавчиной. Рассматривает другой гвоздь – там еще больше ржавчины. По очереди он берет гвозди изо рта и смотрит на них, подолгу вглядывается: легкая присыпь ржавчины уже пометила металл, подобно грибку. А ведь ночью дождя не было. На самом-то деле выдалось целых два невероятных дня без дождя, потому-то он и не потрудился накрыть короб с гвоздями крышкой после вчерашней работы. *Но с дождем или без, а гвозди поржавели. За ночь. Целый короб, пришедший из самого Питсбурга... четыре недели в пути – и сияли, что серебряные монетки... и поржавели за ночь...*

– Ей-ей, а знаешь – похоже на гроб! – воскликнул моряк.

...И так, кивая самому себе, он бросает гвозди в короб и кладет молоток на росистую траву, затем идет едва ли не по пояс в тумане к реке, садится в лодку и гребет на тот берег, где под навесом у грунтовок живет кобыла. И забирается на кобылу, и скачет обратно в Канзас, к сухим, дощато-ровным прериям, где польнь сражается за худосочную почву, где степные зайцы грызут колючие бочонки кактусов в поисках влаги, а гниение – неспешное и незаметное под небом из жженого кирпича.

– Точно гроб! В контейнере, навроде железнодорожного.

– О, глянь, чего они делают!

Другой моряк и его подруга тотчас выпутались из объятий, и все четверо принялись глазеть, как мужчина и мальчик на пристани выгружают что-то из своего пикапа, волокут это что-то по доскам, сваливают это что-то в воду бухты, затем возвращаются к пикапу и уезжают. Моряки и две их девушки сидели в машине, наблюдали, как ящик покачивается и медленно, долгие минуты, тонет. И под пение Эдди Арнольда:

Дым на небе, на земле и над водо-о-ой:
Наши флот с пехотой рвутся в бо-о-ой...⁹

ящик грузно накренился и окончательно исчез под водой, оставив по себе расходящиеся круги и поминальные пузырьки, ушел вниз, в ил и водоросли, где крабы с глазами на стебельках патрулируют зелено-бурые и лилово-бурые склизко-резиновые авеню, караулят унылое

⁹ «Дым над водой» («Smoke on the Waters», 1944) – песня Зика Клементса на слова Уолтера Ленка, впервые записанная кантри-исполнителем Редом Фоули.

скопище бутылок, старых труб, холодильников, сдутых шин, потерянных навесных моторов, битого фаянса и прочих мусорных декораций дна бухты.

В пикапе, откатившем от причала, некрупный, но туго скрученный мужчина, с бутылочно-зелеными глазами и седеющими волосами, пытался унять любопытство своего шестнадцатилетнего сына воспитательными щелчками по кумполу:

– Ты о чем, Хэнки? Не прочь прокатиться в Куз-Бей и присмотреть за своим стариком, чтоб не нарезался, а? За мной глаз да глаз – и трезвый, что твой ватерпас!

– А что там было, папа? – спросил мальчик (даже не догадывался тогда, что это гроб...).

– Где – там?

– В том здоровом ящике.

Генри засмеялся:

– Мясо. Старое мясо: я не хотел, чтоб оно провоняло всю округу.

Мальчик украдкой глянул на отца (Старое мясо, говорит... Папа сказал... А я ведь ни о чем таком и не *догадывался*, грешно сказать, еще сколько-то месяцев, пока не появился Мозгляк Стоукс – он тут у нас в городе вроде как «старый каркун», – так вот, он был у нас дома с визитом, отвел меня в уголок, и мы сидели с ним добрых полчаса – недобрых полчаса, – я весь извертелся, а он всю дорогу лапал меня своими потными грабками – то на колено положит, то за руку схватит, то по головке погладит, то еще где, куда дотянется, – будто никак не успокоится, покуда не пересажает на меня всех бацилл, которыми торгует.

– Ах, Хэнк, Хэнк, – говорил он, трясая головой на шее, которая у него не толще его костлявого запястья. – Мне это очень неприятно, но мой христианский долг – поведать тебе тягостную правду жизни. – «Неприятно» – вот ведь трепло. Да он как вурдалак: все кости перемоет-разгрызет, вместо того чтоб с ходу, без обиняков выложить. – Правду о том, кто был в ящике. Да, я уверен, что кто-то должен поведать тебе про твоего дедушку, про его первые годы в этих краях...) – но ничего не сказал. Они ехали молча.

(– ...в те первые годы, Хэнк, дитя мое... – старик Стоукс откинулся назад, и глаза его подернулись поволокой, – все было не так, как нынче. Твоя семья пока еще не имела больших лесозаготовок. Да... Да, твоя семья, можно сказать, страдала от ужасных злосчастий... в ту пору...)

В то туманное утро старший сын, Генри, первым проснулся и обнаружил, что отец исчез. Генри поднял молоток и – вместе с братьями Беном и Аароном – сделал в тот день больше работы, чем за всю прошлую неделю. И хорохорился:

– Мы их всех за хвост оттащим, парни! Так-то. И черт бы их подрал.

– Что, Генри? За что оттащим?

– За *хвост*, дурилка! Мы покажем этим городским задротам, как хихикать над нами в свои бородавки. Всей этой шайке Стоукса. Мы им покажем. Поддадим жару в аду и поджарим это болото себе на завтрак.

– А с ним-то что?

– С кем? Со стариком «Все-Тлен-и-Суета»? Со стариком «Что-Проку-Лаять-Под-Солнцем»? Да хуй с ним. Разве он не определился с кристальной ясностью? Разве не понятно, что он сдулся? Сдрейфил?

– Да, а если он вернется, Генри?

– Вернется, на брюхе приползет, и даже тогда...

– Но, Генри, а что, если он *не* вернется? – спросил Аарон, младший. – Как мы без него?

Чеканно:

– Да уж как-нибудь. Мы *поджарим* это болото! *Поджарим!* – И сталь его молотка долбила упругие белые доски.

(Так я впервые услышал от Мозгляка Стоукса о том, как батяня старика Генри, Йонас Стэмпер, обесчестил Генри и всех нас. А потом узнал от дяди Бена, как сам Мозгляк, оказы-

вается, столько лет намеренно бередил эту папину рану. Но уже от самого папы я узнал, во что это все вылилось, как бесчестье и уколы произвели на свет его броневую заповедь. И не то чтобы папа пришел ко мне и рассказал. Нет. Может, какие-то отцы и разговаривают со своими сыновьями на такие темы, но старик Генри – даже не заикался. Зато он сделал кое-что другое. Написал эту заповедь для меня – и повесил мне на стену. Говорят, в тот самый день, как я появился на свет. Но прошло немало времени, прежде чем я понял, к чему это. Шестнадцать лет. И даже тогда узнал я об этом не от самого старика, а от его жены, моей мачехи, девчонки, которую он притащил с востока... Но – все по порядку...)

Они обнаружили, что Йонас забрал все деньги из лавки кормов и ничего им не оставил, кроме самого здания, жалких остатков нераспроданного товара да недостроенного дома на том берегу реки. Товар – преимущественно семена, которые не обещали прорасти хоть какой-то зеленью раньше весны. Соответственно, в ту зиму они выжили главным образом за счет благотворительности самой зажиточной семьи в тех краях – семьи Стоукс. Джереми Стоукс был местным тeneвым губернатором, мэром, мировым судьей и ростовщиком – и все эти должности заполучил он по старому неписаному закону: «Кто Посмел – Тот Поспел». Перво-наперво он успел завладеть огромным пакгаузом, брошенным «Компанией Гудзонова залива». Джереми там обосновался. Когда не нашлось желающих его оттуда выдворить, он превратил пакгауз в первый городской «универмаг» и заключил премилую сделку с каботажниками, заходившими в бухту раз в два-три месяца, премиленькую сделочку: они получали немножко сверху за то, что не торговали ни с кем, кроме него.

– Это потому, что я член клуба, – объяснял он, только никогда не распространялся, какого именно. Лишь туманно намекал на некое таинственное братство торговых моряков и купечества на Востоке. – И я намерен, друзья и товарищи мои первопроходцы, всех вас ввести в этот клуб: я не жадный.

«Не жадный»? Да не то слово! Разве не поддержал он несчастную миссис Стэмпер с отпрысками, когда их бросил глава семейства? Семь месяцев привозил им припасы его старший сын, тощий, бледный, как глоток воды, Мозгляк Стоукс, парень, который не только носил гордое звание белого аборигена, редкое в округе, но и был едва ли не единственным жителем городка, сплававшим аж в Европу.

– Никто из местных коновалов, – заметил раз Аарон, – не способен в полной мере *оценить колорит* кашля Мозгляка. – Привозил каждодневно, семь благодатных месяцев.

– А взамен отец просит лишь об одном, – сказал этот паренек по истечении срока щедрости, – чтобы вы вступили в «Кооперацию Ваконды». – Он протянул матери заточенный карандаш и лист бумаги.

Она извлекла очки из черного кошелька и долго изучала документ:

– Но... это значит... наш магазин?..

– Просто формальность.

– Подпиши это, мама.

– Но...

– Подпиши.

Это сказал Генри, старший. Ступил вперед, взял у матери бумагу и положил ее на доску. Сунул карандаш в руку матери:

– Просто подпиши.

Задыхлик разулыбался, украдкой поглядывая на документ:

– Спасибо, Генри. Весьма разумно. Став пайщиками, вы вправе рассчитывать на определенные скидки и льготы...

Генри засмеялся – странноватым, жестким смехом, что появился у него недавно, смехом, способным, как нож, перерезать нить любой беседы:

– О, думаю, мы и без «определенных льгот» себе завтрак поджарим. – Он подхватил бумагу и помахал ею, держа чуть-чуть за пределами досягаемости благодетеля. – Наверное, и без пая где-то там как-нибудь протянем.

– Генри... старина... – Мозгляк многозначительно сощурился, следя за дразнящими движениями документа, и принялся декламировать, пародируя отца и сам того не сознавая: – Мы основатели новых рубежей, труженики нового мира – мы должны бороться плечом к плечу. Совместными силами...

Генри расхохотался и сунул бумагу ему в руку. Затем наклонился, подобрал несколько голышей, рассыпанных по речному берегу. И пустил один по раздольной серо-зеленой водной глади, с блеском:

– Да, думаю, определенно поджарим.

Не видя должного восторга, благодетель впал в легкое уныние.

– Генри, – тихо сказал он снова и тронул Генри за локоть двумя своими пальцами, тонкими, как сосульки, – я родился на этой земле. Я вырос здесь, в глуши и дикости. И я-то уж знаю, зачем первопроходцу нужны друзья. Чтобы выжить. И... ты мне по правде нравишься, старина. Не хотелось бы видеть, как всякие неукротимые стихии вынудят тебя уйти отсюда. Как... некоторых.

Генри разом швырнул в реку всю горсть гальки:

– Никто никуда не идет, Бобби Стоукс, Мозгляк Стоукс, больше никто никуда не идет!

И вновь рассмеялся тем же яростным смехом, презревающим мрачность и робкий фатализм людей. И под этот смех камешки медленно истаяли в речной воде.

А спустя годы, когда благодаря тому же яростному упорству он обрел состоянище и лесозаготовку, чьи масштабы ограничивались лишь числом родственников, перебравшихся сюда, чтобы работать на него, – одним прекрасным утром Генри переправился через реку к гаражу, подле которого нарисовался развозной грузовичок Мозгляка.

– Утро доброе, Генри! Как Генри Стэмпер-младший?

– Шумно, – ответил Генри, скосив глаза на старого приятеля, жердью торчавшего у дверцы машины. Мозгляк прижимал к бедру какой-то ободраный бурый пакет. – Ага. Шумно и прожорливо! – Он замолчал, продолжая коситься.

– О! – Мозгляк вдруг вспомнил про пакет. – Вот что пришло тебе сегодня утром. Надо полагать, в Канзасе прослышали о рождении.

– Надо полагать, так.

Мозгляк скорбно поглядел на бандероль:

– Да, это из Канзас-Сити. Родич, наверное?

Генри ухмыльнулся в кулак – этот жест был излюбленным у Мозгляка, прикрывавшего рукой свой лающий кашель, и люди в городке порой задавались вопросом, не перенял ли Генри это движение, чтобы досадить своему угрюмому компаньону.

– Что ж... – Он рассмеялся – такую Мозгляк развел суету. – Поглядим, что за хрень он там прислал.

Мозгляк уж раскрыл карманный нож, чтобы перерезать бечевку. В пакете оказалась настенная тарелка – трогательная безделушка, таких навалом на сельских ярмарках. Резного дерева херувимчики обрамляли медный барельеф: Иисус несет ягненка на руках по цветущему лугу. Выпуклыми медными буквами: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Матф. 6»¹⁰, – а записка гласила: «Это моему Внуку. Дай Бог ему обрести к зрелости Христианской Любви, Сочувствия и Милосердия больше, нежели в иных моих родичах, кои никогда не понимали меня и не общались со мной. Йонас А. Стэмпер».

Мозгляк пришел в смятение:

¹⁰ Мф. 5: 5.

– Ты хочешь сказать, что ни разу не написал несчастному старику? Ни *разу*? – Мозгляк был не просто в смятении, он был в ужасе. – Ты ужасно его обидел!

– Думаешь? Что ж, попробуем это как-нибудь уладить. Давай-ка съездим ко мне!

И в комнате матери ужас Мозгляка усугубился до полного оцепенения и неверия глазам своим: Генри замазал тарелку унылой желтой масляной краской. Подсушил краску на пламени записки и толстым красным карандашом, каким отмечают размер на спиле бревна, окончательно выразил словами то, что, по его разумению, было всего лишь хорошим напутствием сыну, а по сути – квинтэссенцией того родового греха, который Йонас узрел в глазах своего отпрыска в тот далекий солнечный день в Канзасе: сидя на краю кровати, где расположилась сорокапятилетняя женщина, на которой Генри женился после смерти матери, в присутствии Мозгляка, застывшего с истукански вытянувшимся лицом, а также при младенце, надрывавшем легкие, Генри старательно начертал собственный наказ поверх выпуклых медных слов Христа – скорчившись над тарелкой, ухмыляясь своею свирепой, беспардонной ухмылкой, смеясь над протестами жены, изумлением Мозгляка и над тем, что бы сказал благочестивый старый Йонас, увидь он сейчас свой подарок.

– Вот теперь порядочек!

Генри разогнулся, вполне довольный своей работой, подошел к стене и прибил тарелку над огромной колыбелью, которую он и его парни с лесопилки соорудили для Генри-младшего. (Эта чертова уродливая штука висела над всем моим детством. НЕ УСТУПАЙ И ДЮЙМУ! Папашиным размашистым, неуклюжим почерком. Эта мерзейшая, гнуснейшая, отвратнейшая желтая краска и по-детски корявая красная надпись. НЕ УСТУПАЙ И ДЮЙМУ! Что-то наподобие девизов в дежурке сержанта морской пехоты или же вроде тех бодреньких напутствий, которыми тренер Льюллин размалевал бы всю стену раздевалки. НЕ УСТУПАЙ И ДЮЙМУ! Да, очень похоже на подобные лозунги, «Рога-вперед, копыта-в-землю!», каких я повидал с добрую тысячу, точь-в-точь, за тем лишь отличием, что этот похоронил картинку с Иисусом и барашком под корявой нашлапкой масляной краски, похоронил вместе с теми завитушками слов, какие можно было прочесть пальцами ночью, когда гасли все огни: «Блаженны кроткие...» – и так далее и тому подобное... Эта штука висела, а я ни сном ни духом, к чему это все, пока не стукнуло мне шестнадцать и пока она не рассказала мне, что знала. Тогда я припомнил, что сказал мне Мозгляк, что сказал мне старик, – и прицепил все это к женщинам. Занятно, как много порой требуется времени, чтобы все сошлось, и как этакий вот знак может годами висеть незамеченным прямо у тебя над головой; а когда же наступает озарение, ты хлопаешь себя по лбу, понимая, насколько заметным был для тебя этот знак, хоть ты и не ведал того...)

Когда Хэнку исполнилось десять, его мать, всегда хмурая, бесцветная и неблизкая – и почти полная копия неведомой бабушки, которой он никогда не видел, – слегла в одной из темных комнат старого дома, пару месяцев промучилась жаром, потом в одно утро встала, умылась, постирала и умерла. Она смотрелась в гробу такой естественной и неизменившейся, что мальчику стоило труда оживить в памяти разговоры с нею – ее типичные фразы, интонации, – убеждая себя в том, что хоть когда-то она была чем-то большим, нежели это безмятежное изваяние, покоящееся в атласных оборках.

Генри же не истратил на нее и половины подобных мыслей. Мертвые есть мертвые – так он смотрел на вещи; в землю их – и жить с живыми. Поэтому, едва расплатившись с Лилиенталем, гробовщиком, он выдернул гвоздику из одного венка, приколот ее к лацкану своего траурного костюма, сел на поезд в Нью-Йорк и пропал на три месяца. Три драгоценных месяца, в самый разгар валочного сезона. Младший брат Генри Аарон остался с семьей в доме – присматривать за мальчиком. Жена Аарона забеспокоилась о девере в первые же недели его загадочного отсутствия, растянувшегося на месяцы:

– Уже два месяца. Бедняжка, он так горюет. Его сердце разбито, как никто из нас и помыслить не мог.

– Хрен там «сердце разбито»! – сказал Аарон. – Он настропалился на Восток подыскать девчонку на хозяйкино место.

– Тебе-то почем знать? У Генри есть кто знакомый, что ли, там, на Востоке?

– Коли и так – мне не докладывалось. Но я знаю, что на уме у Генри: бабы на Востоке водятся, только так. Нужна баба – езжай на Восток и выбирай.

– Но это ж бред! Бедняге пятьдесят с гаком. Какая разумная женщина...

– Хрен там «разумная»! Генри ищет бабу, которая сгодится в матери маленькому Хэнку. А как найдет такую, ее разумность и *гроша* ломаного стоить не будет: пойдет как миленькая! – Аарон раскурил трубку, улыбнулся с приятством – за долгие годы он привык сидеть и наслаждаться видом мира, идущего туда, куда потащит его за нос Генри. – Хочешь, поспорим, что бедный старик вернется сюда с подружкой?

Генри в ту пору стукнуло пятьдесят один. Но всякий, кто видел, как он шагает по улицам Нью-Йорка – с мальчишеской ухмылкой, при черном котелке, в уголках глаз морщинки, похожие на свежие трещины в старом пне, – с легкостью дал бы ему и вдвое больше, и вдвое меньше. Для случайного наблюдателя он был скорее архетипом, нежели человеком: деревенщина в столице, неотесанный мужлан из захолустья с молодеческой пружинистой поступью и старческим лицом; жилистые запястья – слишком выпирают из рукавов сюртука, словно только что взятого в похоронном бюро; длинная шея – слишком торчит из воротничка. Со своей нестриженной гривой, седой, как шкура старого волка, и с зелеными глазами, возбужденными и блестящими, он смотрелся персонажем газетных рассказов в картинках про внезапно разбогатевших старателей. Он смотрелся человеком, способным ругнуться в лучшем салоне и сплюнуть на превосходный ковер. Он смотрелся кем угодно, только не достойным женихом для юной благовоспитанной девицы.

В то лето Генри сделался притчей во языцех: он, со своим котелком и похоронным сюртуком, до самого отъезда был желанным гостем на всех вечеринках, куда его приглашали потехи ради. Потеха достигла апогея, когда Генри объявил, что нашел женщину, на которой намерен жениться! Гости были в полном восторге. Поистине прелестно, пикантнее любого салонного фарса. И не над выбором его смеялись приятели: в глубине души они даже изумились, что этому заскорузлomu дурню достало вкуса положить глаз на самую миловидную, самую остроумную и очаровательную юную студентку, что приехала домой на каникулы из Стэнфорда. Вся *соль* была в охальной дерзости, в лукавом нахальстве старого дровосека, покусившегося *возмечтать* о такой девушке. Над *этим* и потешались приятели. А старый пройдоха Генри, который и сам никогда не прочь был похихикать, клоун клоуном расхаживал по гостинной, охлопывая себя по тощим бокам, прищелкивая широкими брезентовыми подтяжками, – и смеялся вместе со всеми. Но заметил, что общее веселье вдруг сделалось куда как жидковатым, когда он увлек из гостинной раскрасневшуюся и смущенно хихикавшую студентку. И догадывался, что смех тот стих вовсе, когда через пару недель настойчивых ухаживаний он снова отправился на Запад, увозя с собою эту девушку уже невестой.

(Даже после того, как Мозгляк рассказал про тарелку, она казалась мне чуть ли не мухой на стене – пока не стукнуло мне шестнадцать, когда Майра впервые вошла ко мне в спальню. По сути, шестнадцать мне исполнилось только-только. Это был мой день рождения. От всех домашних я получил подарки – всякие бейсбольные причиндалы, – но не от нее. Я и не ждал подарка: фиг чего дождешься от нее, разве что ответа на «который час?». Я думал, она даже не знает, сколько мне лет. Но, похоже, она просто ждала, когда лет будет довольно, чтобы оценить ее подарок. Она просто вошла – и встала...)

Возможно, больше приятелей изумился лишь один человек – сама девушка. Ей было двадцать один, и год оставался до выпуска из Стэнфорда. Темноволосая, изящная, тонкокостная

(этакая забавная птица, стояла, будто диковинная редкая птица, чьи глаза вечно устремлены в небо...). У нее в Менло-Парке было три лошади в личной конюшне, два воздыхателя, один из них – заслуженный профессор, и попугай, обошедшийся ее отцу в Мехико-Сити в двести долларов; она отказалась от всего.

(Стояла – и все.)

Она активно посещала с дюжину всевозможных кружков и клубов в районе Залива и не меньше – в Нью-Йорке, где проводила лето. Жизнь ее семьи текла ровно, как и жизнь всех ее друзей. И хоть на Восточном побережье, хоть в Стэнфорде, список приглашенных на ужин у нее неизменно перерастал за сотню. И все это было отринуто. Ради кого? Ради несуразного старого лесоруба в какой-то грязной деревне дровосеков к северу от края земли. Чем *думала* она, разрешив подбить себя на столь неравноценный размен? (Она и смотрела как-то по-птичьи, забавно: знаете, голова вполоборота, взгляд ни к чему не приклеивается, но будто проходит насквозь, проходит так, будто она может видеть нечто, незримое больше никому; и что б она там ни видела, порой это пугало ее, точно призрак.

– Я одинока, – говорит она.)

Она прожила первый свой год в Ваконде, теряясь в догадках, какое же помутнение обужало ее. («Я всегда была одинока. Одиночество всегда было во мне, словно полость...») По истечении второго года она бросила недоумевать и решительно настроилась на отъезд. Она уж вынашивала тайные планы бегства, как, словно из сумрачного сна, выскользнуло нечто, и вцепилось в нее, и вынудило повременить с отбытием на несколько месяцев... считанные месяцы... и тогда уж она уедет, уедет, уедет – или, по крайней мере, у нее будет такое маленькое нечто в оправдание ее житья в северных лесах. («Я думала, Генри заполнит эту полость. Потом думала, что ребенок...»)

Так Хэнк обзавелся младшим братом, а Генри – вторым сыном. Отец, занятый своими лесозаготовками, не особенно-то и заметил это благословенное событие – разве лишь при крещении нарек младенца Лиланд Стэнфорд¹¹ Стэмпер, в чем видел дань почтения своей молодой жене. Он протопал в ее комнату в Ваконде, гремя шипованными ботинками, притащив с собою опилки, грязь и вонь машинного масла, и объявил:

– Малышка, я подумал – и разрешаю тебе называть парня в честь этой твоей школы, по которой ты всю дорогу плачешься. Как тебе такое?

Он говорил в меру напористо, чтобы пресечь любые возможные протесты, – и она лишь вяло кивнула. Кивнув в ответ, Генри с гордым видом протопал вон из комнаты.

С тем он посчитал долг вежливости исполненным. А двенадцатилетний Хэнк, сосредоточенно шуршавший журналами в приемной, казалось, решил и вовсе проигнорировать призывание семейства.

– Хочешь взглянуть на своего маленького братика?

– Не братик он мне!

– А тебе не кажется, что нужно хоть что-то сказать твоей новой маме?

– Она-то мне ничего никогда не говорит!

(Что было почти правдой. Она не говорила ничего, кроме «здравствуй-до-свиданья» до того самого моего дня рождения, когда зашла. Конец весны; я валяюсь на кровати, маюсь сломанным зубом: маханул битой на вынос, да невпопад, ну и вынесло мне; башка раскалывается от боли. Эта тетка мельком смотрит на меня, затем куда-то вдаль, подходит к окну, трепещет, будто птица, бьющаяся в стекло. Она одета в желтое, у нее длинные иссиня-черные волосы. В руке у нее детская книжка, которую она мелкому читает. Ему сейчас года три-четыре, я слышу, как он бузит за стеной. Она стоит у окна, вся из себя трепетливая, – наверное, ждет,

¹¹ Лиланд Стэнфорд (1824–1893) – американский промышленный магнат, политик, основатель Университета Стэнфорда.

чтоб я сказал что-нибудь про ее одиночество. Но я ничего не говорю. И тут ее взгляд падает на тарелку, прибитую над кроватью...)

В последующие годы Генри не больно-то баловал вниманием своего второго сына. От первенца он требовал, чтобы тот вырос сильным и самостоятельным, в отца, второму же позволил быть просто ребенком – глазастым малышом с белой кожей матери и такой наружности, будто в жилах его струилось обезжиренное молоко, коротать детство в одиночестве, в комнате рядом с материной, делая все, что заблагорассудится ребенку, избавленному от опеки. (Она долго смотрит на тарелку, вертит томик в руках, затем глядит на меня. Я вижу, как на ее глаза наворачиваются слезы.)

Мальчиков разделяли двенадцать лет, и Генри не видел нужды сводить братьев. Зачем? Когда малышу Ли было пять и его сопливый нос утыкался в книжку детских стишков, Хэнку было семнадцать, и они с приятелем Джо, сыном Бена, успели изваять свой подержанный «хендерсон» во всех канавах от «Коряги» в Ваконде до «Ранчо „Мелодия“», танцзала в Юджине.

– Братья? Ну и что с того? Чего их в одну кучу-то? Если Хэнку нужен брат, так у него есть Джо Бен; они всегда были что твои яйца в глазунье, и Джо у нас больше торчит, чем при папаше, который знай себе шляется-кобеляется по всему округу. А у маленького Лиланда Стэнфорда есть мама...

– Но кто, – вопрошали бездельники, спускавшие гроши в «Коряге», – есть у мамы маленького Лиланда Стэнфорда?

Нежное трепетное создание, прожившее лучшие свои годы в той берлоге на другом берегу реки, со старпером вдвое себя старше. Прожившая – после того, как снова и снова *клялась* перед всеми, кому *дело* до нее было, что уедет на Восток, едва малыш Лиланд пойдет в школу... и когда это было?

– ...Так кто же есть у *нее*? – Мозгляк Стоукс размеренно качал головой, и горести всего человечества отражались на его лице. – Я просто думаю о девочке, Генри. Ты-то по-прежнему силен, но уж не такой жеребчик, каким был когда-то. Разве не боязно тебе за нее, что день-деньской сидит совсем одна?

Генри лукаво косился, подмигивал, ухмылялся в кулак.

– Чего менжуешься, Мозгляк? Кому судить, такой я или не такой? – с индюшачьей скромностью. – К тому ж есть мужики, которых природа так осчастливила, что им и не надобно лезть из кожи вон каждую ночь. При их-то стати и... особенностях они могут удержать бабу на крючке чистой *памятью* и дикой *надеждой*, что случившееся однажды грянет снова!

И никаких других мыслишек о причинах жениной верности не заплывало в безмятежную гавань стариковской самоуверенности. Невзирая на все намеки и сплетни, он ничем не объяснял ее четырнадцатилетнего прозябания в этом мире древесины, кроме как упорной преданностью чистой памяти и дикой надежде. И даже потом, когда она заявила, что собирается на время покинуть Орегон, чтоб отдать Лиланда в приличную школу на Востоке, щит его тщеславия не получил ни единой царапины.

– Это она о малыше печется, – объяснял Генри. – О малом. Кашель у него какой-то нехороший, а тутошние врачи в полных непонятках. Может, астма. Док думает, что лучше перебраться в местечко посуше, – так тому и быть. Но уж она-то, губы не раскатывайте, сама не своя от разлуки со своим ненаглядным старичком: плачется, мечется что ни день... – Он сунул в кисет бурые пальцы, придиричливо осмотрел щепоть табаку. – Уж так извелась из-за этой разлуки – у меня у самого сердце разрывается. – Разместив табак между десной и нижней губой, он, ухмыляясь, окинул компанию быстрым взглядом. – Да уж, ребята, кому-то дано, кому-то нет.

(По-прежнему плача, она склоняется, дотрагивается пальцем до моей распухшей губы, а затем внезапно запрокидывает голову, и ее взгляд снова падает на тарелку. Будто наконец-то

на нее снизошло некое озарение. Дичь какая. Она прекратила плакать вдруг, будто обрубил, и затряслась, точно северным ветром ужаленная. Вот медленно откладывает книгу, тянет руки и берется за тарелку; я знаю, снять ее нельзя: тарелка приколочена парой двухдюймовых гвоздей. Безуспешно. Затем она коротко, звонко хмыкает и глядит на тарелку, по-птичьи склонив голову:

– Вот если бы ты зашел в мою комнату – и я отправила бы Лиланда в детскую, – как думаешь: она еще *будет* на тебя влиять? – Я отвожу глаза и мямлю что-то, мол, не понял, куда она клонит. Она награждает меня этакой отчаянной, загнанной ухмылкой и берет за мизинец, словно я совсем невесомый и меня можно поднять вот так, за пальчик. – То есть перейти в соседнюю комнату, в обитель моего мира, где ни ты не будешь видеть ее, ни она не будет видеть тебя, – как думаешь, тогда сможешь? – Я смотрю на нее все так же тупо и спрашиваю: смогу что? Она лишь кивает на тарелку и все улыбается мне. Потом говорит: – А ты никогда не интересовался, что это за уродство висит над твоей кроватью уже шестнадцать лет? – И все тянет меня за мизинец. – И не думал о том, какое *одиночество* может оно породить? – (Я мотаю головой.) – Что ж, просто зайди в соседнюю комнату – и я объясню тебе. – (А я, помнится, думаю: «Господи, она ведь и вправду подкинет меня за пальчик...»)

– Ты не усекаешь. – Мозгляк, запинаясь, крикнул Генри, когда тот шагал уже к дверям салуна. – Генри, ты ведь не усекаешь! Ты не думаешь, что... – неохотно, словно извиняясь, будто его, ради блага старого друга конечно, вынудили задать этот мучительный вопрос, – ... что ее отъезд... как-то связан с уходом Хэнка в армию? В смысле, она решила уехать как раз тогда, когда он решил туда завербоваться?

Генри остановился, почесал нос:

– Может быть, Мозгляк. Почем знать... – Одернул куртку, вжикнул молнией до подбородка и поддернул воротник. – Разве что она объявила о своем *отъезде* за несколько дней *до* того, как Хэнк только лишь *заикнулся* о своем желании пойти в армию. – Он пронзил Мозгляка победоносным взглядом и хлестнул ухмылкой, похожей на туго натянутый трос. – Ладно, покада, черномазые!

(А в соседней комнате, помнится, я подумал: она права насчет тарелки. Приятно убежать от взгляда этого богомерзкого страшилища. Но я обнаружил, что просто оказаться в другой комнате – еще не значит убежать от него. На самом деле именно там, в соседней комнате, когда она рассказала мне, что думает о воздействии той штуки на меня, я тарелку-то по-настоящему и увидел. Даже сквозь сосновую стену я видел ее – желтую мазню, красные буквы – и все, что скрывалось под желтым и красным, яснее, чем когда-либо прежде. Но к тому времени, когда я заметил ее, было поздно ее не замечать. И точно так же, когда я уразумел, к чему приведет прогулочка в соседнюю комнату – а тогда-то вся карусель и завертелась, – было уже малешко не остановиться.)

Конец весны, со времени охоты на каверзные мячи прошли годы. Воздух свеж и на вкус – как дикая мята. Река, ликующе бликуя, сбегает с гор, подхватывая вьюгу ароматов ягодных кущ, что тянутся по ее берегам. Солнце подмигивает с небосклона, нестройные ватаги юных облаков собираются на ярко-голубом просторе, разгульные и дикие, небесная шпана, исполненная пустых угроз, не чреватых дождем. На пристани перед старым домом Генри помогает Хэнку и Джо Бену грузить одежду, тюки, птичьи клетки, шляпные картонки...

– Барахла хватит на добрый аукцион, правда, Хэнк? – Ворчливо и благодушно, с годами будто вернув себе детскую восторженность, отложенную в юности, когда он преждевременно заматерел и ожесточился.

– Это уж точно, Генри.

– Ёкарный бабай, *погляди-ка*, сколько всякой херни!

Большая, неуклюжая, глубоко сидящая лодка проседает и вздымается, принимая груз. Женщина стоит и смотрит, ее тонкая, птичья рука покоится на плече двенадцатилетнего сына.

Он склонился к материнскому бедру и протирает очки каймой ее канареечно-желтой юбки. Трое мужчин перетаскивают ящики из дому. Лодка покачивается, садится глубже. Цвета бьют в глаза жгучей ясностью, режут сцену контрастами: синее небо, белые облака, синяя вода, белые лепестки на воде – и этот сверкающий желтый клочок...

– Хлама и гнилья – по гроб жизни хватит, не то что на пару месяцев. – Он поворачивается к женщине. – И куда ты столько своего барахла берешь, да и детского тоже? Ехай быстро, ехай налегке – вот как я всегда говорил.

– Его обустройство может занять дольше, чем я думала. – И тотчас добавляет: – Но я вернусь поскорее. Да, я вернусь, как только смогу.

– *Ого!* – Старик подмигивает Джо Бену и Хэнку, волокущим по причалу огромный кофр. – Понятно, ребята? Понятно. Кто привык к отбивной с картошкой, на сэндвичах и салате долго не протянет.

Синее, белое и желтое, а с шеста, который торчит из окна второго этажа, свисает флаг, указывающий развозному грузовичку, какие припасы выложить; черные цифры нашиты на красный габаритный флажок. Синий, и белый, и желтый, и красный.

Старик расхаживает туда-сюда вдоль лодки, изучает кладь:

– Думаю, доплывет. Ладно. Так, Хэнк, пока я отвезу их на станцию, вы с Джо Беном поищите запчасти к движку. Можете сгонять на драндулете в Ньюпорт, там посмотреть. Зайдите в «Найро машин», они все железяки для скагитов держат. Я вернусь к ночи. Оставьте мне лодку на том берегу. Где моя шляпа?

Хэнк не отвечает. Он наклоняется проверить уровень реки по мерной пластинке, прибитой к свае. Солнце играет серебром на его светлой металлической каске. Распрямившись, сует руки в карманы рабочих «левайсов», окидывает взглядом реку:

– Погодите-ка... – (Женщина стоит недвижно – желтая заплатка на синей реке; старик Генри рьяно выстрегивает щепку, чтоб заделать течь, открывшуюся в борту лодки; гномик Джо Бен отправился на склад за брезентом, чтоб укрыть поклажу, если суетливые облака все же решатся на агрессию.) – Погодите...

Лишь голова мальчика резко поворачивается, отбросив бледно-коричневую челку. Похоже, только мальчик слышит, что говорит Хэнк. Он наклоняется к старшему брату, поблескивая очками на солнце:

– Погодите...

– Что? – шепчет мальчик.

– ...Пожалуй, с вами прогуляюсь, если никому еще глаза не намозолил.

– Ты? – удивляется мальчик. – Ты решил...

– Да, братишка, пожалуй, я прокачусь с вами до города, чтоб после не мотаться. Моцык у меня нынче все одно не бегает как надо... так что нет возражений, Генри?

Собаки, внезапно учуявшие жизнь на пристани, вырвались из дома и с лаем несутся по дощатому настилу.

– Я не против, – говорит старик, сходя в лодку.

Женщина следует за ним, понурившись. Хэнк отгоняет собак и тоже запрыгивает, едва не притопив посудину. Мальчик по-прежнему стоит, будто в трансе, окруженный собаками.

– Ну, сынок? – Генри поднимает взгляд, шурясь на солнце, быющее из-за спины мальчика. – Ты идешь или нет? Черт, спит... Где эта проклятая каска?

Мальчик забирается и усаживается на кофр подле матери.

– Да вон там она, под тем ящиком. Майра, не подашь?

Женщина протягивает каску. Джо Бен притаскивает серую брезентовую скатку, Хэнк принимает ее.

– Ну что, Генри? – спрашивает Хэнк, тянется к веслам. – Я погребу?

Старик мотает головой и сам берется за весла. Джо Бен отдает швартов и, упершись в сваю, толкает лодку от причала.

– Увидимся еще! Пока, Майра! Пока, Ли! Будь молодцом! – Генри тянет шею, оглядывая площадку перед гаражом на том берегу, и принимается грести размеренно и мощно, его зеленые глаза в тени от полей каски.

Речная гладь, устланная цветами, ровная, будто скатерть в горошек, натянутая от берега до берега. Нос лодки с шипящим присвистом режет воду. Женщина сидит с закрытыми глазами, словно в некоем забытии, будто бы силясь отрешиться от боли в голове. Генри уверенно гребет. Хэнк смотрит на реку, на уток-крохалей, суматошно бьющих крыльями по воде. Маленький Ли беспокойно ерзает на своем кофре-насесте на корме.

– Что ж... – Старый Генри роняет слова меж всплесков весел. – Что ж, Лиланд... – Голос у него бесстрастный, далекий, неколебимый. – Жаль, что ты решил, будто... – связки в его шее поскрипывают, когда он откидывается назад, – ...тебе нужна школа на Востоке... но нет худа без добра, наверное... здешняя земля ведь не всякой мотыге дается... тут ведь нос по ветру, хвост пистолетом... а иной и просто не сдюжит... Но все нормалек... Надеюсь, ты им всем там покажешь... – *Много позже Ли вдумался в смысл его напутственной молитвы, тогда же лишь слушал ритм этого псалма, в котором самым простым говором будто бы вершилось некое заклятье; и время замерло; все стало недвижно, и все явилось сразу. Так подумал он однажды, спустя годы.* – ...Да, покажи им за себя и за всех нас... – (Вот и все, думал Хэнк. Сейчас они сядут на поезд. Все кончено, и я никогда ее больше не увижу.) – ...и, это, когда окрепнешь... – (Я был прав, что никогда больше не увижу ее...) *Молитва, прочитанная надо мной... (Я был чертовски прав...) Они гребут по серебрящейся воде. И отражения колышутся легкой рябью среди лепестков. Ионас тоже гребет, он за бортом, укутанный по шею в зеленую мглу: Ты должен знать.* Ли видит себя, вернувшегося через двенадцать лет, двенадцать лет гниения, углем начерченных на его бледном лице, и призрачные руки протягивают сосуд с ядом для брата Хэнка... *или, скорее, это и было заклинание...* (Но я ошибался в том, что все закончено. Чертовски ошибался.) *Ты должен знать, что мы ничего не обретаем и все наши труды тщетны.* Ионас налегает, подергиваясь туманом. Джо Бен отправляется в парк штата, со складным ножом и ангельским личиком во имя свободы. Хэнк ползет, продирается сквозь ежевичные заросли во имя тернистой неволи. Рука закручивается на веревке и медленно раскручивается. Лесоруб, сидящий в грязи, шлет проклятия через реку.

– Меня выело одиночество! – плачет женщина.

Вода течет. Лодка движется размеренными толчками. Внезапно закапал дождик; миллионы белых глаз перемигиваются на водной глади. Хэнк оглядывается, хочет предложить женщине свою каску, но женщина прикрывает черные волосы разноцветным одеялом. Красная, желтая, голубая лоскутная фигура мягко вздымается и опускается, будто на неких особых волнах, не тревожащих лодку. Хэнк пожимает плечами и закрывает рот. Он расправляет брезент и снова принимается обозревать реку, но вот его глаза встречаются с глазами мальчика – и взгляд замирает.

Долгие секунды эти двое пристально глядят друг на друга.

Хэнк первым разрывает мучительный противоток взглядов. Он опускает глаза, приятельски ухмыляется и пытается разрядить напряженность, игриво ухватив мальчика за коленку:

– Так что, Малой? Теперь Нью-Йорк тебе вроде как дом родной будет? Всякие эти... *музеи-галереи*... и всякое такое прочее? И все эти миленькие школьные мышки – так к тебе и липнут, к такому крепкому парню из северных лесов?

– Мм... Погоди... я...

Генри смеется:

– Так и есть, Лиланд... – Размеренно гребет. – Так и я мамку твою заполучил... Эти девчонки с Востока моментом голову теряют... при виде такого здоровенного красавца-лесоруба... ты уж спроси ее, коли не веришь.

– Мм... Э, я... – (*Ты уж спроси ее. Ты уж спроси...*) Голова мальчика запрокидывается, рот открыт.

– Что с тобой, сынок?

– Э-э-э... я... Мм... – (*Бессловесная насмешка звучала в каждом ухе, кроме ушей старика: «Ты уж спроси ее...» – эхом повторяющаяся молитва, обернувшаяся заклятьем.*)

– Что с тобой, спрашиваю? – Генри бросает весла. – Опять приболел, что ли? Пазухи заложило?

Мальчик зажимает рот ладонью, стараясь совладать с голосом, стискивает пальцами слова. Он мотает головой, мычит сквозь пальцы.

– Нет? Может... может, тогда укачало? Утром ничего такого не кушал?

Он не видит слез, покуда мальчик не открывает лицо вновь. Он, должно быть, и не слышал отца. Генри качает головой:

– Видать, что-то чертовски жирное слопал, коли эдак тебя развезло.

Мальчик не смотрит на Генри – он вперился глазами в брата. Ему кажется, будто и говорит с ним – Хэнк.

– Ты... погоди... еще! – Мальчик выдавливает из себя угрозу. – Мм! Мм, Хэнки, когда-нибудь ты получишь за свое...

– Я? Я? – Хэнк щерится, вскидывается. – Да твое счастье, что я не свернул твою цыплячью шею! Потому что, сказать по правде, Малой...

– Ты погоди пока...

– ...кабы ты не был таким сопляком и кабы я узнал, что ты...

– ...я не подрасту!

– ...узнал такое вот дерьмо, – наверное, я б даже не возбухал, раз она...

– ...пока не вырасту, чтобы...

– ...а от тебя то же вранье...

– *Что?* – Старик Генри своим возгласом гасит перепалку. – О чем – во имя всего святого – вы *болтаете*?

Братья усталились в дно лодки. Лоскутное одеяло замирает недвижимым пестрым холмом. Наконец Хэнк смеется:

– А, наши с пацаном терки. Дела житейские, верно, Малой?

Тишина склоняет голову мальчика к робкому кивку. Старик Генри вновь берется за весла, внешне успокоенный, гребет; Хэнк бормочет, что лицам, подверженным морской болезни, следует избегать жирной пищи перед лодочной прогулкой. Мальчик сдерживает слезы. Он стискивает челюсти, презрительно отворачивается, устремляет взор на воду. Но лишь после того, как прошептал:

– Ты... – скрестив руки, с видом человека, излившего все, что было на уме и на сердце, – ты... только... погоди!

Он хранит молчание весь остаток пути – и в лодке, и в машине, до самого вокзала Ваконды; даже когда они с матерью садятся в поезд, а Хэнк жалуется на комические «пока» и желает «всех благ» – мальчик хранит такое мрачное, трагическое и мстительное молчание, будто ему, а не старшему брату выпало ожидание.

И сознавал ли то Ли, нет ли, он действительно ждал двенадцать лет – покуда не пришла открытка от Джо Бена Стэмпера из Ваконды, Орегон, в которой говорилось, что старик Генри повредился на руку и на ногу, выбыл из строя, а потому с лесоповалом вроде как завал и, чтоб уложиться в срок по контракту, им нужен еще хоть один работник – еще один Стэмпер, само собой, – чтобы профсоюз не просочился, а ты остался у нас один-единственный вольный родич

не при деле, поэтому что скажешь, Ли? И если думаешь, что тебе такое по плечу, – добро пожаловать к нашей колоде...

А внизу – приписка тем же карандашом, но почерком увереннее, напористее: *Наверное, ты уже подрост достаточно, Малой!*

Частенько мне думается: хорошо бы приспособить расторопного зазывалу, чтоб он толкал мой товар. Подмигивающего, улыбчивого торгаша, шинкующего овощи, прогонистого корифея ярмарок, с микрофончиком у манящего кадыка, – чтоб он высовывался из будки, а из-под закатанных манжет длинные пальцы совершали гипнотические пассы, дергая за ниточки внимания и нагнетая ажиотаж в праздных взорах:

– Гляньте-гляньте-гляньте-ка! Гляньте, други и подруги, на это маленькое Чудо Посередь Наших Серых Будней! Ви-зу-аль-ная диковина, вы не можете не признать. Потрясите, повертите, поглядите сквозь нее откуль захотите... и взгляд ваш выйдет со-вер-шен-но с другого боку. Во как: сферы вложены одна в другую, будто стеклянные шарики до самого крохотули! самого малого так и не разглядеть без научных приборов. Да уж, ребята, подлинная диковина, аб-со-лютно уникальный феномен, с чем, я уверен, вы согласитесь...

Однако по всему Западному побережью разбросаны городки точь-в-точь как Ваконда. От Виктории на севере до Эврики на юге. Городки эти живут с того, что сумеют отвоевать у моря перед носом и гор за спиной, стиснутые между. Им подрезали поджилки географические экономики, проштампованные мэры и торговые палаты, зыбучие времена... с консервных заводиков лупится списанная армейская краска по доллару за кварту, штабеля покоробленного гонта на лесопилках поросли мхом... да, все они так похожи, что хоть суй их один в другой, наподобие матрешек. Проводка сплошь гнилая, оборудование сплошь ржавое. Народ сплошь вечно жалуется на худые времена и беды, с работой плохо, а с платой еще хуже, ветры холодные, а зима еще холоднее...

У каждой лесопилки найдется поселок-коробчонок, обычно – на реке, и консервный заводик у пристани, где не мешало бы полы настелить. Главная улица – полоса мокрого асфальта с мазками неона от барной вывески. Если ж там стоит светофор – это скорее символ престижа, а не атрибут уличной безопасности... *Слово городскому советнику по транспорту:*

– Эти ребята в Нагалеме обзавелись уже вторым светофором! Почему бы нам не поставить хотя бы один? Проблема этого города, ей-бож, – в недостатке Гражданской Гордости.

Вот в чем он видит неприятность.

Там есть синемаатограф, веч. сеансы: чт, пт, сб, расположен по соседству с прачечной, и оба заведения принадлежат одному землистому и смурному предпринимателю. На козырьке синемаатографа читаем: ПУШКИ НАВАРОНЕ Г ПЕК И 3 РУБАШКИ ЗА 99 ЦЕНТОВ – ТОЛЬКО ДО КИНЦА НЕДЕЛИ.

По мнению этого застиранного гражданина, все неприятности – от нехватки «О».

Через дорогу, за стеклами витрин, сплошь заклеенными фотографиями с фигурной высечкой: подретушированные домики и фермы, – сидит Агент по Недвижимости, колени усыпаны белыми сосновыми опилками... Агент этот – лысый шурин скорбноокого кинопрачечного магната, славен хваткой в ипотечных делах и луженой глоткой на полдниках Младшей Торговой палаты по вторникам:

– Это земля будущего, ребята, это спящий исполин! Конечно, не все у нас было гладко. Не гладко и сейчас, после восьми-то лет под игом этого скаредного солдафона из Белого дома, но мы вышли из чащи на простор, мы вписались в поворот!

А на его столе, как на благотворительном «Общинном Сундуке», дислоцирован целый полк статуэток, «подарков от фирмы», – изваяния Джонни Красное Перо, вырезанные из белой сосны умелыми пальцами Агента по Недвижимости, – и своими деревянными глазами взирают они в окно на длинные ряды пустых витрин напротив. И таблички «СДАЕТСЯ» на дверях

тищечно вызывают хоть к *кому-нибудь*, умоляя прийти, смыть известку со стекол и снова нанести ее на стены, заставить полки блестящими банками с острой тушенкой и пряными бобами, вновь набить конфетные автоматы упаковками «Дневных трудов», «Копенгагена», «Скола», «Экстаза»; усадить на скамьи у дровяной печи ядреных бородачей в подбитых сапожищах – они когда-то, три-четыре десятка лет назад, переплачивали втрое-вчетверо за дюжину яиц; бородачей, что признавали только купюры, ибо карманы их штанов штопали не для того, чтобы в них брякали жалкие гроши. «ПРОДАЕТСЯ», «СДАЕТСЯ ВНАЕМ», «В АРЕНДУ» – гласят вывески над дверями. «Процветание и *новые* горизонты», – говорит Дока по Недвижимости за кружкой пива. Ушлый хват, но его единственная сделка со Дня отца-основателя – с мучнистоликим зятем насчет обветшалого до полной несостоятельности синематографа, что рядом с прачечной.

– Кто бы сомневался. Дальше дела пойдут на лад. Наша единственная беда – некоторый спад из-за ярма этого генерала!

Но жители Ваконды начинают не соглашаться – до полного согласия в этом несогласии. Сначала возражают члены профсоюза:

– Беда не в администрации, а в автоматизации. Пилорамы, трелевочные машины, передвижные лебедки – да вдвое *больше* леса валят вдвое *меньше* работников. Выход прост: рабочий день для лесорубов нужно сократить до шести часов, как это проделали с укладчиками гонта. Дайте нам Шестичасовой День с оплатой за Восемь Часов – и, отвечаю, *все* наши парни нарубят вдвое больше!

И все члены поддерживают эту мысль дружными криками, свистом, топаньем, хотя знают, что непременно сыщется в баре пакостный зануда, который возразит:

– Беда лишь в том, что у нас больше *нет* «вдвое больше леса». Потому что какая-то гадюка вырубил слишком много за последние полвека.

– Ну нет! – восклицает Агент по Недвижимости. – Нам не хватает не древесины, но Цели!

– Быть может, – говорит преподобный брат Уокер, из Церкви Господа и Метафизики, – нам не хватает Бога. – Перед тем как развить мысль, он делает выверенный глоток пива. – Наши нынешние духовные беды гораздо существенней экономических.

– Так-то оно так! И я далек от умаления важности *этого*, но...

– Но мистер Луп имеет в виду, брат Уокер, что для поддержки духовности человеку потребно хоть немножко телесности, сиречь мяса на костях.

– Нужно как-то жить, брат.

– Да, но не «хлебом единым», помните?

– Так-то так, но и не «духом святым», верно?

– А я говорю, что если у нас не будет леса для рубки...

– Да завались того леса! Разве Хэнк Стэмпер не пашет со своим балаганом на всю катушку? Нет? А?

Все делают по вдумчивому глотку.

– Значит, беда не в нехватке леса...

– Не-а. Никак нет...

Они пили и дискутировали с самого полудня – за огромным овальным столом, традиционно бронированным под такие дебаты, и, хотя собрание этих восьми-десяти мужчин не имело никакого официального статуса, они были признанными властителями дум города, и мнение их считалось священным, как тот зал, где они встречались.

– А знаете, интересный момент – касательно Хэнка Стэмпера?

Этот бар, «Коряга», расположен в нескольких домах от синематографа и прямо напротив Фермерской ассоциации. В обстановке необычного – не больше, чем в завсегдатаях: точная копия любого другого бара в подобном городке лесорубов. Но фасад – зрелищный до крайности. В широкой витрине представлено внушительное собрание неоновых вывесок, снятых с

баров-конкурентов, капитулировавших перед Тедди за годы его предпринимательства. И когда спускаются сумерки, Тедди щелкает выключателем под стойкой, и эффект бывает столь внезапным и сокрушительным для подвыпивших новичков, что зачастую взрыв иллюминации сопровождается взрывом стакана, выпавшего из рук. Фасад бара наливается неистово пляшущим неоном. Огни мерцают, извиваются, воют за место в окне, охватывают друг друга и переплетаются, шипя, словно электрические змеи. Закручиваются – раскручиваются. Огни эти столь ярки и яростны, что темной ночью их едва ли не слышно. А темной *дождливой* ночью от их гвалта рвутся барабанные перепонки. Прислушайтесь: у самой двери истошно вопит пламенно-алая вывеска – «Красный дракон»; под ней, помигивая зеленым и желтым, другая настойчиво зовет выпить «На посошок», соблазняя бокалом мартини с вишенкой; рядом огромное оранжевое исчадие ревет «ЗАЙДИ И ВОЗЬМИ!»; по соседству «Пикадор» мечет багровые стрелы в сторону парикмахерской. «Чайка» и «Черный кот» вопят друг на друга диссонансами красного и зелени. «Алиби», «Крабовая похлебка» и «Ваконда-Хаус» сцепились насмерть. И все пивные компании наперебой изобличают друг друга рекламными слоганами: *Дело в воде... и Здесь – жизнь... или Мэйбл, черный лейбл...*

Сама же «Коряга», похваляющаяся трофейными флагами, собственной вывески не имеет. Много лет назад на вызеленном стекле значились слова «Коряга: салун и гриль», но по мере того, как Тедди скупал и закрывал другие бары, он сдирает все больше зеленой краски, чтоб дать место захваченным неонкам, которые вывешивал наподобие вражеских скальпов. В ясный день, когда вывески не горят, подойдя вплотную, можно различить смутные контуры букв за стеклом – но едва ли это потянет на «название». Темной же ночью, когда буйствует неон, разглядеть что-либо в этой свистопляске просто невозможно.

Однако ж есть одна вывеска, которой позволено выделяться. Но не электрическая, а затейливо выполненная из дранки – она висит особняком, над дверью, на двух грузовых винтах. Эта едва заметная вывеска обязана своим появлением не обычному финансовому натиску Тедди на конкурентов, а его браку, продлившемуся всего четыре месяца, – и она куда милее хозяину, нежели все мигалки и сверкалки. В ровных, умеренно-голубых тонах эта неприметная вывеска напоминает всем прочим: *«Помни... Один стакан – уже слишком много. Женское христианское общество трезвости»*.

Для Тедди, этого плюгавого толстячка в стране поджарых лесорубов, неоновые трофеи – бальзам на душу. Наполеону не требовались каблуки, чтоб возвыситься над прочими: у него была полная грудь медалей. Эти символы успеха и доказывали его величие. Да, с такими медалями он мог молчать, когда всякая мелюзга скулит о своих бедах...

– Эй, Тедди-съел-медведя, еще по одной! – ...и хнычет в кружку...

– Тедди?

...и подышает медленным, животным страхом...

– Тедди! Черт, парень, ты жив или нет?

– Да, сэр! – Его вырвали из раздумий. – А, пива, сэр?

– Господи, именно. Пива.

– Сейчас-сейчас, сэр...

Стоя в глубине бара, слушая треп в зале, доносящийся сквозь световое марево, он мог совершенно обособиться от их грубого, рычащего мира. Но вот он суматошно забегал взад-вперед вдоль стойки, и апломб его рассыпался вдребезги. Его пухлые пальчики подрагивали, собирая урожай стаканов.

– Я мигом!

Он подтащил заказ к их столу, показной своей спешкой возмещая задержку. Но они уже вернулись к обсуждению местных бед, напрочь забыв о Тедди. Еще бы. Не *могут* большие дурни его не игнорировать. Боятся присмотреться к нему повнимательней. Опасно разглядеть превосходство в таком...

– Тедди!

– Да, сэр. Я забыл: вы сказали «светлое»? Я заменю, как только разнесу остальные кружки...

Но мужик уже пьет пиво. И Тедди возвращается за стойку – на мягких подошвах, призрачный и всеми презираемый.

Вот осиянная электричеством дверь растворилась, и в проем шагнула фигура – крупнее, старше, громко клацает подкованными сапогами, но отчего-то столь же призрачна, как Тедди. То был местный отшельник, старик с окладистой седой бородой, известный не иначе как «тот драный алкаш откуда-то с Южной Вилки». Некогда знатный лесоруб, верхолаз-мачтовик, ныне он слишком одряхлел и ослабел, опустил до того, что зарабатывает на жизнь, косясь по окрестным раскорчеванным лесозаготовкам на пикапе с раздолбанными рессорами и пару дней в неделю пиля кедровые пни на гонт. Гонт он сдает на фабрику, по десять центов за вязанку. Падение катастрофическое – от верхолаза до сборщика дранки. И видно, позор такого падения едва ль не на корню сгноил тот механизм, что обозначает присутствие человека; старик прошел по залу, будто сокрытый туманом, а когда исчез из виду, никто не смог бы его описать или хоть доподлинно подтвердить факт его появления. И все же, поскольку он редко заходил в «Корягу» (хотя проезжал мимо раз в неделю по меньшей мере), его присутствие нельзя было игнорировать, как Тедди. Он был чересчур редким гостем, а Тедди – всего лишь элемент интерьера. Не доходя до стойки, старик на мгновение замешкался, прислушиваясь к разговору. Под гнетом его внимания беседа захромала, зачихала и издохла вовсе. Тогда он звучно хрюкнул в бороду и без слов двинулся дальше.

У него были свои соображения на предмет того, откуда все беды.

Дискуссия не возобновилась, пока старик не заказал у Тедди большой стакан красного вина и не ухромал в темные глубины бара.

– Бедолага! – выдавил Главный по Недвижимости, первым одолевший мимолетную нервозность, повисшую над столом.

– Да уж! – согласился лесоруб в помятой серой каске.

– И чистую правду про него говорят.

– Виной – вино?

– Дешевый портвешок. Вроде Стоукс ему ящиками подгоняет, ящик в неделю.

– Дело дрянь, – сказал кинопрачечный магнат.

– Цок-цок-цок! – сказал брат Уокер: он научился сострадательно цокать языком по «Джо Палуке»¹² и полагал, что это междометие прямо так и произносится.

– Да уж. Паршиво дело.

– Мужик валил лес до черта много лет. Позор!

– Позор? – переспросил лесоруб. – Да это *преступление*, мать-перемать... простите, брат Уокер, – но я принимаю близко к сердцу. – И, совсем войдя в раж, припечатал чумазный кулачище к столу. – Это, мать-перемать, преступление! И *грех*! Такой вот старый горемыка вроде него имеет право на – слушайте все! – на пенсию и учет трудового стажа! Разве не об том распинается Флойд Ивенрайт уж два года как?

– Все так, все верно.

Они снова были на коне.

– *Бед*а этого города в том, что мы не можем рулить той самой организацией, которая создана, чтобы нас защищать: *профсоюзом*.

¹² «Джо Палука» (1930–1984) – спортивный комикс Хэммонда Эдварда «Хэма» Фишера о добродушном и глуповатом боксере.

– Господи, а разве Флойд не то же самое *говорит*? Он говорит, мол, этот Джонатан Бэйли сказал, Ваконда на *годы* отстала он других городов лесорубов. И я держусь того же самого мнения.

– А это самое мнение выводит нас прямехонько на сами-знаете-кого и его упертую родню!

– Точно! Именно!

Мужчина в каске снова грохнул кулаком по столу:

– Позор!

– И хотя сам я лично в чем-то даже восхищаюсь Хэнком и его семейством – черт, да мы выросли вместе! – я считаю, все корни наших бед в них. И если куда и наставить пушку, то аккуратно на тот дом, так я полагаю.

– Аминь, брат.

– Еще какой аминь! А теперь все *слушайте*! – Вновь потревоженный всплеском агрессии, Тедди поднял глаза. – Если кому и грозить пальцем, то все мы знаем, в *кого* им тыкать!

Сквозь натираемый бокал Тедди видит перст, грозно воспрянувший из чумазого черношерстного кулака.

– Да, прямой наводкой в этот проклятый домище!

...музыкальный автомат стрекочет, лопочет, пульсирует цветом. Жужжит электрический фасад. Мужчины тихонько дышат в унисон. Перст, шишковатый и упрямый, озаренный вечерним солнцем, медленно поворачивается, будто стрелка компаса. Дом. Суровая громада, чернеющая на заре, уже звенящая утренними хлопотами...

– Да, наверное, ты прав, Хендерсон.

– Еще б я был не прав! И если тебе нужно мое взвешенное мнение – в них все наши проблемы!

Из кухонного окна вырываются свет и крики, смех, ругань. «Просыпайся и встряхнись, ребята! Старик вас опередил, хоть он дряхлый и увечный!» И оглушительный запах жареных колбасок. Это колокол Хэнка. Как раз в его вкусе. Это по Хэнку звонит его колокол.

А из-за стойки бара, чураясь солнечного света, Тедди следит за мужчинами, прислушивается к их доводам – и в глубине души уверен, что проблема не в финансах: пока вели они свой кретинический диспут про оборотные капиталы, капитал Тедди вырос почти на двенадцать баксов – и это *среди бела дня*. И у него серьезные сомнения в том, что все беды города следует валить на крылечко дома Стэмперов. Нет, проблема в другом. По его взвешенному мнению...

– Кстати, Хендерсон, коль уж ты завел речь о Флойде: я его целый день не видел, а то и больше...

А к западу от дома в своей лачуге на буро-глинистом берегу Индианка Дженни просыпается, встает с раскладушки и натягивает платье, некогда алое, но вылинявшее до буро-глинистого, принимается вопрошать, кто повинен в плачевном состоянии ее дел и куда запропастилась чертова медаль Святого Христофора. На юге же Джонатан Бэйли Дрэггер вглядывается в дорогу перед собою в поисках места, где бы переночевать на пути в Орегон. На востоке почтальон пытается разобрать каракули на трехцентовой открытке и уже близок к капитуляции.

– Да, где Ивенрайт?

– На севере, в Портленде. Пытается раз и навсегда уладить то самое *дело*, о котором мы тут толкуем.

Кулак стискивается крепче, но перст по-прежнему указывает. Старый дом безмятежно завтракает, по-прежнему шумный и гомонливый, ему и невдомек, что по всей округе вздымаются гневные персты и тычут в него, будто копыя охотников, кольцом обложивших кабана...

На севере Флойд Ивенрайт восседал, будто воздушный шарик, втиснутый в костюм за сорок долларов: тугой, непроницаемый, надутый. Он усердно перепахивал толстую папку желтых бумаг – и допахал до самой сердцевины. Бумаги, некогда свеженькие и хрустящие, ныне валяются перед ним на столе кипой прелых павших листьев. На листьях различаются капельки

пота. Его руки всегда потеют обильно, когда не заняты своей, ручной работой. Хотя на самом деле он и не припомнит, чтоб они когда-нибудь потели. Сейчас же, утирая лоб и мелкий красноватый нос, он не узнает своих рук. Они кажутся оголенными и нервными, чужими. И будто все мозоли сошли. Занятно. И не подумаешь, что можно вот так вот привыкнуть к мозолям, верно? Мозоли – это как сапоги крепкой толстой кожи и с рифлеными подошвами. Когда ты *в них* – не замечаешь их тяжести, но стоит переобуться во что *другое* – и земля под ногами до конца дней будет казаться непривычной и зыбкой, даже если годами не носишь ничего тяжелее полуботинок.

Утерев лицо, Флойд посидел недвижно, зажмурившись. Глаза устали. И спина устала. Да *весь* он, оптом, чертовски устал! Но дело того стоило. Он знает, что произвел нужное впечатление на этого лизоблюда. И он доволен отчетом. Там – убедительные доказательства того, что «Лесопилка Стэмпера» совершенно, господи боже мой, *точно* обязалась поставлять кругляк «Тихоокеанскому лесу Ваконды». Неудивительно, что ни старик Джером, ни еще кто из шайки «ТЛВ» не парятся из-за этой уже месячной забастовки. Ребята могут бастовать, покуда в аду лава не замерзнет, – а убытка не выйдет. Пока Стэмпер и его паршивое семейство рубят лес для «ТЛВ»! Все обстояло еще хуже, чем он полагал. Он-то думал, Джером связался со Стэмпером и, возможно, заключил некую сделку на поставку древесины в будущем, чтобы компенсировать убытки от забастовки. Флойд заподозрил это, приметив, с каким пылом и жаром стали вдруг работать Стэмперы. И уже один этот факт был хуже геморроя: они вкалывают, когда весь город ушел в отказ. Поэтому он написал Джонатану Дрэгеру, а тот назначил профсоюзное расследование. И, Господи всеблагий, что же выявило это расследование? Оказывается, еще в августе Стэмпер сговорился с «ТЛВ» о заготовке бревен и складировать их у себя, чтоб никто не узнал. Выходит, эти сукины сыны с того берега реки не только *работали* как *обычно*, когда весь город, стиснув зубы, бастовал, – они стригли двойные, а то и *тройные* купоны!

Его глаза резко распахнулись. Он сгреб неряшливую кипу бумаг и пихнул их в светло-коричневую папку.

– Сгодится! – молвил он, кивнув тощему конторскому лизоблюду, что сидел напротив и нервно барабанил пальцами все то время, пока Флойд изучал доклад. Казалось, этот человечек не желает расставаться с Флойдом.

– Да, я слышал, вы учились с Хэнком Стэмпером в одной школе? – уточнил он слишком приятельским, на вкус Флойда, тоном.

– Неверно слышал, – холодно ответил Флойд, избегая смотреть на собеседника.

Взял банку пива свободной рукой, сделал глоток. Он знал, что клерк за ним следит. Знал, что каждый его чих и вздох фиксируется в памяти этого тщедушного, узкоплечего ябеда – и обо всем будет доложено мистеру Дрэгеру. И сам отчет, хоть был он о другом, – тому свидетельство: этот проныра и комариной реснички не оставит незамеченной. И его доклад Дрэгеру будет не менее детальным. Флойда тошнило от подхалимской ухмылки этого задохлика, и аж руки сводило – так хотелось кулаком разmozжить пучок этих липких пальчиков. Его бесило, что подобный человечешко в принципе как-то связан с профсоюзом. И Флойд пообещал себе: лишь только он подружится с ребятами наверху – добьется, чтоб этого склизкого змееныша выперли. Но чтобы произвести впечатление на тех, кто на вершине, – сначала приходится якшаться с подонками на дне. Поэтому он хранит бесстрастное лицо, держит спину прямо – и заставляет себя снова глотнуть выдохшееся пиво.

– Ну, мне так говорили, – напирает человечек.

Ивенрайт поднимает свои натруженные глаза на этот вкрадчивый голосок и прикидывает успех своего визита. Он ради этого доклада гнал машину из самой Ваконды. Хотел проверить себя на этом человечке, перед тем как выйти непосредственно на Дрэгера. Он угробил почти час на поиски дома этого лизоблюда в лабиринте портлендских улочек. Прежде он бывал в городе лишь раз, и к тому же в такой ярости и досаде, что все вспоминается в красном мареве.

Тогда его друзья по команде во Флоренсе скинулись, чтоб оплатить ему проезд на турнир Кубка штата. Они совали ему билет и утешали: «Тебя должны были взять, Флойд. Ты был лучшим защитником. Тебя просто кинули!»

Это кидалово, а затем и благотворительность разом всколыхнулись в нем от одного вида реки и огней Портленда, вновь расплывшихся красным маревом. Он блуждал по городу, вглядываясь в указатели сквозь ожившую пелену гнева. И ему некогда было поужинать. И дрянное пиво жгло кишки. И глаза пылали; и нечеловеческие усилия требовались, чтоб выдать свою постыдно малую скорость чтения за намеренную дотошность. И его спина болела от необходимости сидеть прямо, втянув живот. Но сейчас, глядя на лицо этого человечка, Флойд понял, что справился. Он видел, что тот впечатлен своей первой встречей с окружным координатором из Ваконды. Вполне достаточно впечатлен и благоговееет. Флойд нарочито поставил пивную банку на стол и вытер руку о штанину.

– Нет, – сказал он. – Не совсем так.

Он говорил убедительно и со значением: когда-нибудь он будет давать пресс-конференции в подобной манере.

– Нет, я учился во Флоренсе, это в десяти милях к югу от Ваконды. А туда я переехал уже после школы. А слышать ты мог, – он сделал паузу, нахмурил брови, будто припоминая, – что мы оба играли, в защите и нападении, в команде... каждый в своей. И целых четыре года сходились лицом к лицу. Даже на Кубке штата.

Был небольшой риск – но Флойд сомневался, что этот пижон разбирается в спорте достаточно хорошо, чтобы понимать: в принципе не мог Флойд повстречаться с Хэнком на Кубке штата, если их команды – из одного округа. Он мельком глянул на часы, поднялся:

– Что ж, у меня впереди долгий путь.

Эта крыса в рядах профсоюза тоже соскочила с табуретки и протянула лапку. Ивенрайт, которому когда-то приходилось бегать за пятьдесят ярдов и мыть свои мозолистые ладони в ручье, чтоб нагрывшаяся с визитом профсоюзная шишка снизошла до рукопожатия, теперь взирал на пижонскую кисть так, будто у нее между пальцами клопы.

– Ты неплохо поработал, – сказал он и вышел из дому.

На улице Флойд расстегнул верхнюю пуговицу на штанах и похвалил себя: ловко, чертовски ловко – оставить недомерка хлопать глазами с протянутой рукой. Да, он великолепно со всем управился. Впечатление – вот счастливый билет. Научи их уважению; поставь себя правильно перед ними; покажи, что ты – рыбешка не хуже и не мельче их! Крупнее!

Но когда он снова протирал глаза, перед тем как сесть в машину, его рука вдруг показала ему очень маленькой и дряблой. И чужой – как никогда прежде. Пальцы точно не его. Чьи-то еще. Они нервно нашаривали ключи. Цепочка лопнула, ключи брызнули в свете фонаря. Дженни шарит по полкам в поисках Святого Христофора. Бросает это занятие, плещет виски в стакан. Присаживается, смотрит сквозь паутину, затянувшую одинокое окошко хибары. Щурится в небо. Полная луна обреченно дрейфует к архипелагу из облачков. Дженни смотрит, вздыхает. Зал гудит полуденным гулом. Кто-то сует монетку в булькающий музыкальный автомат. Хэнк Сноу¹³ убедителен, как кондукторский свисток:

Машинист, воды не желей в котле,
Всех быстрее этот поезд на южной земле,
Двигай вперед...

¹³ Хэнк Сноу (Кларенс Юджин Сноу; 1914–1999) – американский кантри-певец, автор-исполнитель. Далее цитируется его песня «Я двигаюсь вперед» («I'm Movin' On», 1948).

Старый добытчик дранки клюет носом, почти что окунает его в стакан портвейна, пасмурно взирает из пыльного серого полумрака. Почтальон пересекает яркую зеленую лужайку в Нью-Хейвене, с открыткой в руках. Старый дом, зябко ежась под утренним небом, подобный песчинке под перламутром раковины, растворяет дверь. Выходят две фигуры в одеждах лесорубов.

– Слишком уж он шумный для инвалида, – говорит Хэнк, качая головой.

– Инвалид? Да ему обе ноги отпилить нужно, чтоб заинвалидить! – Джо Бен смеется, восхищенный той энергичностью, какую явил старик за завтраком. – О да, Генри не из тех, кто станет играть с чужой руки, даже когда повредит свою. С чужой руки! Слышал? В смысле, каламбур: карты – и у него рука в гипсе...

– Ты мог бы сделать карьеру в комедийных сериалах, – полуискренне хвалит Хэнк. – Но знаешь, Джоби... На самом деле даже удивительно, как все зашаталось, когда он вышел из бизнеса. Черт, нам нужно срочно найти замену. Но я даже не знаю, кого бы...

– Неужели?

– Не знаю... – кивает Хэнк.

– Правда, что ли?

Хэнк уверен, что Джо ухмыляется, но продолжает шагать вперед, к пристани, не оглядываясь на коротконового кузена.

– Я попросил Вив обзвонить всех и созвать собрание – чтобы все были в курсе. Заодно и сам общий расклад усвою. Но все равно ума не приложу, кого бы еще припрячь к работе – из тех, кто еще не в упряжке.

– Да что ты говоришь! – ухмыляется Джо. Он с самого начала понимал, куда приведет этот разговор, и не без удовольствия издевается над Хэнком, выбравшим окольный маршрут. – Так-таки никого-никогошеньки? Ну ты даешь.

Хэнк стойчески не замечает глумливости приятеля.

– Что ж, можно пошукать на всяких фамильных задворках... – сказал он наконец, подбираясь к сути. – Но это потребует времени и раздумий.

– Ага, – сказал Джо. – Конечно потребует. – И добавил, со всей возможной невинностью: – Особенно если учесть, сколько времени и раздумий потребовалось, чтоб найти повод *нуждаться* вот именно в этих «задворках генеалогии».

Он, пританцовывая, обгоняет Хэнка, сбегает к пристани, помахивая каской в рассветных лучах и поухивая от избытка веселости.

В «Коряге» музыкальный автомат все вызывает напористо-локомотивно:

Двигай вперед,
И душа поет.

Флойд заводит машину, трогается в обратный путь из Портленда. Почтальон поднимается по ступеням. Дрэгер останавливается в мотеле, в такт мягкому мерцанию люминесцентной лампы качает головой, вежливо отказываясь от выпивки, предложенной управляющим.

– Знаете, я и сам бывал на лесоповале, – признается управляющий, едва узнав, кто такой Дрэгер.

– Прошу прощения, но выпивку лучше отставить, – снова говорит Дрэгер. – У меня завтра собрание, нужно подготовиться. Но все равно спасибо. Приятно было поговорить. Спокойной ночи.

Снаружи, в неоновом зуде – ТЕЛЕВИЗОР И ЭЛЕКТРООДЕЯЛА БЕСПЛАТНО – он вяло роется в карманах. Как и Флойд, он устал. Утром он встречался с владельцами «Тихоокеанского леса Ваконды» в Сакраменто – и сразу же пустился в путь. Он планировал ближайшие дни провести в гостинице «Красный утес», за переговорами с согласительной комиссией по

Сюзанвилльскому делу, и только затем, если проблема не разрешится сама собой, отправиться на север и заняться этим недоразумением в Ваконде. И вот какой-то бывший-дровосек-потом-фермер-потом-трактирщик лезет с угощением. Господи боже!

Наконец он нашел, что искал, – маленький блокнот и автоматический карандаш во внутреннем кармане плаща. Вынул, поводит рукой над страницей и под аккомпанемент алых пульсаций неона написал: «Люди всегда норовят подпоить тех, кого почитают за высших над собой, надеясь тем самым устранить дистанцию».

Привычка делать заметки завелась у него еще в колледже, где он неизменно отличничал по всем предметам, всегда оказываясь самым подготовленным. Перечитав фразу, он одобрительно улыбнулся. Он коллекционировал подобные афоризмы годами и мечтал издать когда-нибудь полновесный сборник. Но даже если мечта не сбудется, коротенькие премудрости все равно куда как полезны в работе – эти золотые крупички, извлекаемые из руды жизненного опыта.

А когда грянет час испытания – он будет готов...

Старый дом затихает: завтрак кончился. Дети еще не проснулись. Старый Генри, утомленный, но довольный, взбирается по лестнице, спеша в постель. Собаки сыты и спят. Вив выплескивает кофейную гущу через заднюю дверь в рододендроны – а солнце едва-едва тронуло шпиль елей на дальних холмах...

Почтальон подходит к ящику, чтобы бросить туда открытку. Флойд Ивенрайт наконец-то выбирается на трассу и приступает к поискам бара. Дрэгер сидит на кровати в мотеле и подмечает первые признаки грибка между третьим и четвертым пальцем правой ноги – а ведь еще и из Калифорнии толком не выбрался. Индианка Дженни сидит у окна своей каморки, потягивает бурбон с табаком и все больше увлекается парадом облаков в лунном свете. Они наступают с моря могучими мужественными колоннами, и Дженни, наклонившись грузно, шурится вдаль, вглядываясь в полузабытые лица этого воинства, – пригожи, пригожи, и статны, и высоки они были, воинство прекрасное и белое, как снег, простирающееся за окоём ее памяти. «Сколько их было – чертова тьма!» – шепчет она с горестной гордостью и замешивает еще щепоть табака в стакане теплого виски, чтобы четче виделся парад этого воинства. Кто был всех выше среди этих воинов тумана? Кто был всех прекрасней? Всех неистовей? Всех проворней? Кто из ратников был более всех прочих ей люб? Конечно, всякий-каждый-среди-всех был достойным мужем, и она бы с легкостью подарила последний двухбаксовый лотерейный билет (с двойным выигрышем) *любому* из этой рати, чтоб только заглянул к ней сейчас на огонек, но – из чистого любопытства – кто же люб ей *больше* всех?

...и – из чистого любопытства – она вновь утопает в пучине старой-престарой своей западни.

Тем временем Джонатан Бэйли Дрэгер, уютно устроившись под электроодеялом, перед бесплатным телевизором, где идет древний фильм с Бетт Дэвис¹⁴, берет с прикроватной тумбочки свой блокнот и выводит новую запись: «Женщины же, столкнувшись с высшим, вместо выпивки пускают в ход ядовитый нектар своего пола».

Тем временем Флойд Ивенрайт выпрыгивает из машины и нетерпеливым теннисным мячиком скачет через стоянку к дверям какого-то придорожного бара на окраине Портленда, свирепея от всего, что попадает на глаза. Тем временем старый драный алкаш прислушивается к разговору в «Коряге» о трудных временах и напастях. А собрание вывесок манит и пугает несчастных мотыльков неоновым потрескиванием. И Хэнк Сноу громко зовет:

Кочегар, угля поддай —
Душа несется в рай —

¹⁴ Бетт Дэвис (Рут Элизабет Дэвис; 1908–1989) – голливудская киноактриса.

Двигай вперед.

А на Востоке почтальон опускает открытку в щель, и будто в ответ на это мирное действие гремит взрыв, подхватывает почтальона, как цунами – винную пробку, и отшвыривает назад, на середину лужайки.

– *Что* за...

Вынырнув из мучительного небытия, когда сознание кое-как упорядочилось, хотя бы – чтоб оценить беспорядок на лужайке, разом сделавшейся похожей на вздыбленное валами изумрудное море, – почтальон слышит далекий звон в ушах. Этот звон постепенно заполняет разломы, произведенные взрывом в тверди восприятия. Почтальон отупело поднимается на четвереньки и наблюдает время, капающее красным с кончика разбитого носа. Он так и стоит на четвереньках, ошарашенный, ничего не замечая, кроме своего кровоточащего носа и осколков бывшего окна, разбросанных окрест, покуда хруст стекла под чьим-то ботинком у крыльца коттеджа не побуждает почтальона вскочить на ноги с круглыми от ярости глазами.

– *Что* за... – восклицает он. – Какого дьявольского черта... – он пошатывается, крепко прижимая свою сумку к ширинке, будто страшась повторного посягательства на естество, – тут творится, ты!

Легкий, пахнувший горелой ватой дымок развеивается, открывая взору высокого молодого человека, чье лицо вымазано сажей и испещрено оспинками табачной крошки. Почтальон видит, как этот опаленный призрак наклоняет голову, встречая вопрошающий взгляд, и облизывает почерневшие губы над обгорелыми остатками бороды. Поначалу лицо имело вид бледный и потерянный, но тотчас черты складываются в маску щеголеватой надменности; комичная закопченность физиономии еще более оттеняет это нестерпимое выражение шалого высокомерия и презрительности, делает его до того напыщенным, что в нем видится не искусственность, но скорее карикатура на снобизм, исполняемая искусным мимом. И все же есть нечто в фальшивости этого выражения – быть может, осознанность фальши, – что премного усугубляет язвительность насмешки. Почтальон снова принимается возмущаться:

– Нет, ты думаешь, что творишь, ты... – Но эта глумливая физиономия слишком бесит его: вал гнева разбивается в безобидные брызги изо рта.

Они стоят друг против друга несколько мгновений, затем опаленная маска смежает лишившиеся ресниц веки, словно давно пресыщена зрелищем разъяренных госслужащих, и спесиво уведомляет почтальона:

– *Думаю*, я пытался покончить с собой, спасибо за внимание. Но теперь я не вполне уверен в действенности избранного метода. И, с вашего позволения, попробую что-нибудь еще.

И молодой человек с неподражаемой, гротескной помпезностью – в которой по-прежнему сквозит неизбывная презрительность – разворачивается и гордо удаляется к крыльцу чадающего дома. Оставив почтальона перед входом в еще большей озадаченности и растерянности, чем когда поднимался с газона. Который переливается, перекачивается, поблескивает на солнце...

Музыкальный аппарат булькает и трепещет. Облака маршируют над городом. Дрэгер забывается сном о мире, где на всех вещах есть этикетки. Тедди изучает страхи сквозь до блеска натертый бокал. Ивенрайт вваливается в дверь под вывеской «Бар „Большой куш“ и Изысканная Кухня», планируя немного выпить, чтоб расправить крылья, помятые сидением в чертовом кресле с прямой спинкой, когда читал чертов дотошный доклад, составленный ничтожной шпионской крысой, – поди пойми: с одной стороны, эти хмыри в штатском, все эти бумажки с красными тесемочками, ради которых весь сыр-бор, а с другой – настоящие мужики, заварившие профсоюзную кашу, старые добрые ИРМшники, «Вобблиз»...¹⁵ но, похоже, к этому

¹⁵ «Вобблиз», ИРМ («Индустриальные рабочие мира») – организация в защиту прав трудящихся, созданная в 1905 г. и

все и пришло, так что будем играть по правилам... как бы то ни было, надо выпить... раззудись экзема, умри геморрой, как говорится... пара пива – то, что доктор прописал... он покажет всем этим городским шишкам, что за человек есть Флойд Ивенрайт, бывший полузащитник, душитель вражьих форвардов, родом с помойки под названием Флоренс. Да, он ничуть не хуже любого другого, хоть столичного!

– Бармен! – Два кулака сотрясают стойку, требуя внимания. – Давай наливай-подавай!

Доказывает сам себе, что эти усталые, потливые ладони по-прежнему умеют собираться в кулак.

Родственники начинают стягиваться в дом на совещание, а Хэнк тайком прикладывается к бутылке. Не то чтоб крылья скомканные распрямить – а так, просто чтоб укрепиться духом перед очередным раундом. Над побережьем облака выстраиваются плотными шеренгами между морем и луной. И дремотный конкурс на «самого некогда любимого», проводимый Индианкой Дженни, прерывается видением чужака в этих стройных рядах: старый Генри Стэмпер, руки в брюки, зеленые глаза смотрят упрямо и нахально – с того лица, какое он носил тридцать лет назад. «Сукинский сын!» – упрямые, глумливые глаза – неизменное презрение к товарам Дженни, с того самого дня, как она завела свою лавку на плесе. Она видит, как он снова подмигивает, слышит его смешок и назойливый шепот:

– Знаешь, чё я думаю? – Полдюжины хозяйственных и важных мужских лиц нависали тогда, тридцать лет назад, над ее прилавком, но ее обсидиановые глаза прикованы к бесшабашной физиономии Генри Стэмпера. И лишь его слова она слышала. – Думается, кто с индюшкой сладит, – слышит она его голос, – тот и медведицу поимеет!

– *Что-что?* – медленно переспрашивает она.

Генри, подслушанному против его ожиданий, некогда думать над тактичными эвфемизмами – потому он повторяет не без бравады:

– Поимеет и медведицу...

– Сукинский сын! – вопит она. Для нее озвученный им комплимент мужской доблести – страшное оскорбление как пола, так и расы. – Ты, ублюдок, убирайся отсюда весь! Тут – одна индюшка... *одна* индейка... которой тебе не иметь никогда! Нам с тобой не поиметься, пока, пока... – она вызывает к памяти предков, набирает воздуху в легкие, расправляет плечи, – пока все луны не уйдут с Великой Луной и пока все приливы не придут с Великим Приливом!

Она смотрит, как он недоуменно пожимает плечами и, все такой же зеленоглазый и по-прежнему прекрасный, уходит за слякотный горизонт ее памяти.

– Да и кому ты сдался, старый осел? – А сердце все стучит, где-то в глубине, вопрошая: *а сколько именно Лун и Приливов?*

А Ли, отыскав очки и соскоблив сажу с единственного уцелевшего стеклышка, изучив пепелище своего лица в зеркале в ванной, заляпанном зубной пастой, задал себе два вопроса. Один всплыл из далеких и сумрачных детских воспоминаний: «Каково это – проснуться мертвым?» Другой же был навеян событием не столь отдаленным: «Кажется, длань сия сунула в ящик открытку... кто, кто в этом паршивом мире мог сподобиться мне написать?»

Похоже, лицо в зеркале не знало ответов ни на один из вопросов – да не больно-то и морочилось ими, лишь возвращало взгляд пытливых глаз. Ли набирает стакан воды, открывает шкафчик-аптечку, где плотно толпятся на полках пузырьки. Препараты покорно ждут своего часа – будто билеты во все концы, куда душа пожелает. Но он еще не решил, куда взять билет: ему явно нужно что-то успокоительное-умиротворительное после взрыва, но в то же время – что-то бодрящее-веселящее. Особенно если он намерен убраться из дому прежде, чем вернется временно контуженный почтальон с перманентно контуженным фараоном, который станет докучать своими дурацкими вопросами. Вроде – «А зачем кому-то вообще желать

проснуться мертвым?» Так куда направить лифт: вверх или вниз? В порядке компромисса он принял две дозы фенobarбитала и две – декседрина, запил, а затем принялся поспешно удалять остатки бороды.

К тому времени, когда Ли закончил бритье, он уже решил: надо сматываться из города. Ибо его совсем не привлекало разбирательство с полицией, домовладельцем, почтовым ведомством и бог знает с кем еще, кто решит сунуть нос в его дела. Да и мысль о встрече с товарищем по жилью душу не грела: листы его диссертации разбросало по всем трем комнаткам коттеджа, наподобие конфетти. Да, что его здесь держит? Как он давно уразумел, пересдача экзаменов будет пустой тратой времени – и его, и факультетского. Он несколько месяцев не заглядывал ни в учебник, ни в любые другие книжки, если не считать подшивки старых комиксов, хранившихся во флотском рундучке под кроватью. Итак, почему бы нет? Почему бы не плюнуть на все, просто взять билет, податься в... в город, к примеру... заложить машину, вписаться к Билеми и Джимми Литтлам... Правда, Джимми в последнее время, как летом перебрался из материнского дома, стал каким-то... странноватым... Но может, почудилось? Или – проекция? Так или иначе, пока все не полетело к чертовой матери, куда все и катится, лучше, пожалуй...

Вид собственной умытой и побритой физиономии в зеркале вывел Ли из задумчивости. Из обоих его глаз текли слезы. Никак он плачет? Ни печали, ни раскаяния – ничего из тех эмоций, какие он традиционно увязывал со слезами, – но слезы были. Зрелище внушило ему одновременно отвращение и страх – это покрасневшее чужое лицо, в очках с единственной треснувшей линзой... коровье спокойствие – и сантехнические потоки слез.

Он опрометью бросился вон из ванной, разметал завалы книг и газет подле кровати. Он перетряхивал все комнаты, покуда не отыскал в гряде грязной посуды на кухне тонированные очки с предписанными диоптриями. Наскоро протер линзы салфеткой и нацепил на нос взамен разбитых.

Вернулся в ванную, снова посмотрелся в зеркало. Очки и впрямь его красили: под этой спасительной аквамариновой ретушью лицо сделалось куда симпатичнее.

Он улыбнулся и, чуть откинув голову, принял залихватски-нахальный видок. Фасон «а нам все пофигу». Опустил глаза. Фасон – «неприкаянный странник», «дитя дорог». Сунул сигарету в угол рта. Фасон – «парень, готовый рвануть когти в любой момент, пока не стало жарко»...

Довольный собой, он вышел из ванной и приступил к сборам.

Он взял лишь одежду и немного книг, пошвыряв все это в чемодан компаньона по найму. А записки и кое-какие бумаги как попало рассовал по карманам.

Вернувшись в ванную, бережно пересыпал из каждого пузырька по половине содержимого в старую пачку «Мальборо» и поместил ее в карман брюк, уложенных в чемодан. Пузырьки же запихнул в старую кроссовку, подоткнул грязным носком, как пыжом, и закинул кроссовку под кровать Питерса.

Начал было укладывать пишущую машинку в кофух, но вдруг спохватился, запаниковал – да так и оставил опрокинутой на столе.

«Адреса!» Он выдергивал ящики своего стола, пока не нашел блокнот в коже, но, перелистав, вырвал одну страницу – остальное швырнул на пол.

Наконец, вцепившись в огромный чемодан двумя руками и дыша, как пес в жару, он наскоро огляделся – «Порядок!» – и рванул к машине. Втолкнул поклажу на заднее сиденье, сам прыгнул за руль и хлопнул дверцей. Хлопок ударил в уши. «Все стекла подняты!» И приборная доска – что жаровня...

Он дважды пробовал врубить задний, но плюнул и двинул вперед, развернулся прямо на лужайке, вырулил снова на гравийную дорожку, поехал по ней, пока не добрался до улицы. Но повременил выезжать. Он газовал, стоя на месте и глядя на чистую, как река, мостовую. «Давай

же, парень...» В ушах все еще звенело после хлопка дверцы, как после взрыва. Он газовал, будто предоставляя машине самой выбрать, куда повернуть. «Давай же, парень... будь серьезен». Рычаг передачи – горячий, словно кочерга... и в ушах звенит... наконец он прижимает ладонь к лицу, словно выдавливая этот звон, – будто чья-то жилистая лапа игриво стиснула мое колено, а горло распирает какая-то взбесившаяся, визгливая волюнка, – и вдруг замечает, что снова плачет; натиск, визг и треск всех декораций... и вот тогда – «Ну а коли не можешь быть серьезным, – проворчал я, – так будь хотя бы *разумен*. Кто, кто в этом паршивом мире мог?...» – он вспоминает об открытке, оставшейся у порога.

(...облака шествуют по небу. Бармен продолжает разливать. Музыкальный аппарат булькает. А вся оскорбленная кубатура дома заполняется негодованием Хэнка: «...Базар *не* о том, черт возьми, добавит ли нам *популярности* в городе, если мы прогнемся под „ТЛВ“... а о том, где взять людей? – Он замолкает, обводит взглядом лица. – И так... у кого какие соображения? Или, может, есть охотники пахать сверхурочно?» После недолгого молчания Джо Бен отправляет в рот горсть семечек и поднимает руку. «Я однозначно не рвусь в герои труда, – говорит он, пережевывая, а затем сплевывая лузгу в ладонь, – но, пожалуй, у меня есть одно предложение...»)

Открытка валялась на нижней ступеньке – трехпенсовая почтовая открытка. Писали толстым черным карандашом. И одна строчка вдруг кажется все чернее и чернее, больше и больше, затмевая все прочее послание.

«Наверное, ты уже подросток достаточно, Малой!»

Поначалу я не поверил своим глазам. Но эта рука все сжимала колено, а эта волюнка стенала в груди, покуда не прорвалась безрадостным смехом, таким же неумным и незванным, как недавний приступ бесскорбного рыдания. «Из дома... О господи, весточка от родственников!» – и наконец меня ткнули носом в факт их существования.

Я вернулся к скучающей машине, сел, чтобы прочесть открытку, борясь со своими смеховыми спазмами, мешавшими разобрать текст. Там стояла подпись дяди Джо Бена, но и без нее, даже невзирая на веселье, я сразу понял, что этот сбивчивый почерк дошкольника не мог принадлежать никому иному, кроме Джо. «Конечно. Рука дяди Джо. Вне всяких сомнений». Но внизу была дописка – жестче, увереннее, – она-то и приковала мой взор, и то был не дядюшка Джо, нет: голос братца Хэнка звучал в моей голове, пока я читал.

«Лиланд. Старика Генри угораздило поломаться – от него теперь мало проку – и нам нужен кто-то – но только Стэмпер – чтоб отделаться от профсоюза – деньгами не обидим, если думаешь, что потянешь... – А дальше – другим почерком, будто кинжалом: – Наверное, ты уже подросток достаточно – и т. д. – А еще ниже, под этим бескомпромиссным диагнозом, начертанным огромными, заглавными буквами – в этом есть нечто очень символичное: воззвание старшего брата заглавными буквами, – приписка, изображающая потуги на сердечность: – Пост и скриптом. Ты еще даже не видел мою жену Вивиан, Малой. Теперь у тебя вроде как есть сестренка».

Наверное, эта последняя строка и разрушила чары. Мысль о том, что мой брат теперь женатик, показалась мне до того нелепой, по-настоящему юмористичной, что вызвала уже искренний смех, и презрение вернуло мужество. «Во как! – фыркнул я и швырнул открытку на заднее сиденье, прямо в зубы призраку прошлого, что ухмылялся из-под своей лесоповальной каски. – Я знаю, кто ты: не что иное, как продукт несварения моего желудка. Кочерыжка, скукожившаяся в моем холодильнике. Недоваренная картошка, съеденная за ужином. Дешевка! В тебе больше силоса, чем силы!»

Но, подобно своему прототипу из Диккенса, призрак моего старшего братца надвинулся со страшным ревом, гремя крепежной цепью, и, страшным голосом выкрикнув: «Ты подросток!» – столкнул меня с проселка в асфальтовую реку – я по-прежнему смеялся, но теперь не без причины: ирония судьбы, тютелька в тютельку прибытие этого – кавычки открыть – Нечаян-

ного Послания – кавычки закрыть – стало для меня едва ли не первой радостью за многие месяцы. «Гениально! Просить меня вернуться и помочь с бизнесом – как будто мне дела нет, кроме как прыгать по лесам и их бревна пинать!»

Но теперь мне было куда податься.

К полудню я продал свой «фолькс» – ту его часть, которой владел, – получив на пять сотен меньше настоящей цены, а в час уже тащил чемодан Питерса и бумажный пакет со всяким барахлом, извлеченным из бардачка, к автовокзалу, готовый пуститься в путь. Который, по уверению кассира, займет целых три дня.

До отбытия автобуса оставался почти час. Пятнадцать минут я извел на интеллигентское самокопание, после чего, покоровшись зову совести, позвонил Питерсу на факультет.

Когда я сказал, что стою на вокзале и жду автобуса до дома, Питерс поначалу не понял:

– Автобус? А с машиной что стряслось? Оставайся на месте – сейчас отпрошусь с семинара и подхвачу.

– Я ценю твою заботу, но не думаю, что у тебя найдется лишних три дня. Даже шесть: туда и обратно...

– Шесть дней *куда* и обратно? Ли, черт тебя раздери, что происходит? Ты где?

– Минутку...

– Ты впрямь, что ли, на автовокзале? Не прикалываешься?

– Минутку... – Я открыл дверь кабинки и окунул трубку в сиплую симфонию автобусных клаксонов. – Хорошо слышно? – проорал я в микрофон. Меня охватила необыкновенная легкость в теле и в мыслях: от барбитуратно-амфетаминового коктейля я одновременно разомлел и воспрянул, будто с одной стороны меня баюкали, а с другой – трясли за плечо, обращая сон в забористую карусель. – И когда я говорю о *доме*, Питерс, дружище, – я снова прикрыл дверь и присел на чемодан, – я имею в виду не нашу убогую школярскую обитель, где прошли последние восемь месяцев – и которая, к слову, уже близка к развеянию по ветру, как ты сам убедишься, – нет, я имею в виду Дом! Западное побережье! *Орегон!*

После некоторой паузы он спросил чуть подозрительно:

– Зачем?

– Во имя поисков утраченных корней, – ответил я весело, стараясь разрядить эту его подозрительность. – Возжечь новые огни на пепелищах, изжарить заживевших овнов.

– Ли, что случилось? – спросил Питерс, теперь скорее участливо, нежели подозрительно. – С катушек слетел? В смысле, что-то не так?

– Ну, во-первых, я сбрил бороду...

– Ли! Хорош дурака валять... – Несмотря на мою старательную веселость, я слышал, как и подозрительность и сочувствие в нем уступали место растревоженной злости, – этого-то я и старался избежать. – Просто скажи, черт возьми, *почему!*

Не такой реакции ждал я от Питерса. Далеко не такой.

Положительно, я в нем разочаровался: он с чего-то так напрягался, когда мне было так кайфово. В тот миг я подумал, как это на него не похоже – докапываться до людей (лишь потом я понял, насколько бредово звучали мои слова) и как чертовски нечестно так вопиюще наплевать на заветы нашей дружбы. У нас были соображения на этот счет. Мы оба сошлись в том, что индивиды, обитающие парой, должны выработать сугубо свою систему, в рамках которой общаться, иначе общение рухнет, как Вавилонская башня. Мужчина вправе ждать от жены, что с ним она будет играть роль Жены – хоть стервозной, хоть прилежной. С любовником она может играть совсем другую роль, но дома, в связке Муж – Жена, не должна фальшивить в своей арии. Не то мы так и будем блуждать, не различая своих и чужих. И за восемь месяцев под одной крышей (и годы – приятельства) с этим моим домашним негрилой, улыбчивым, как рояль, мы обозначили четкие границы, в которых могли спокойно общаться, что-то вроде театральных амплуа: он выступал этаким мудрым, благодушным, основательным Дядюшкой

Римусом при интеллектуально-снобоватом племянничке, то есть мне. И в этих рамках, надевая потребные маски, мы могли исповедоваться друг перед другом в самых священных своих тайнах, не стесняясь касаться самых деликатных предметов. Я горой стоял за незыблемость этой манеры общения, даже в чрезвычайных обстоятельствах. Поэтому попробовал снова:

– Плоды зреют в яблоневых куцах; воздух густеет ароматом теплой мяты и ежевики – и, чу! – я слышу манящий зов земли предков. Кроме того, мне нужно кое-кому отплатить по счетам.

– Дружище... – попробовал он обуздать меня с другого боку, но я взбрыкнул и бросился напролом, и меня было не остановить.

– Нет, послушай! Я получил открытку. Позволь, уж распишу мизансцену – крупными штрихами, ибо скоро посадка на автобус. Но, поверь, картина просто-таки кучерявилась исключительно стильными виньетками – того или иного рода. Я только что вернулся с прогулки по берегу – к дому Моны. Я не стал туда заходить – там была ее чертова сестра... Так или иначе, я вернулся с одного из своих философских променажей «пить или не пить» и, мужественно покашляв, *наконец* решился «и в смертной схватке с целым морем бед... покончить с ними»¹⁶.

– Ли, ну не тяни же! Что ты хочешь...

– Просто послушай. Внемли мне! – Я нервно затянулся сигаретой. – Перебивая, ты лишь усложняешь мой слог... – Поблизости послышалась механическая возня. Какой-то пухлый Том Соьер завел пинбольный автомат подле моей стеклянной будки; лампочки истерически замигали, бахвляясь астрономическим счетом, циферки накручивались с прытью пулеметной ленты. Я заторопился. – Я продираюсь сквозь наш взлелеянный бардак. Время – около полудня, чуть меньше. В обители холодно – опять ты оставил открытым этот чертов гараж...

– Блин! Если б я не проветривал, ты бы вовсе с постели не вставал! Так на что ты решился? Что значит «наконец решился»...

– Стоп! Стоп-кадр! Я закрываю дверь, запираю на ключ. Мокрым кухонным полотенцем подтыкаю щель внизу. Проверяю окна, дотошный и загадочный, как кентервильский призрак. Затем открываю на полную кран газовой печки – не перебивай, просто слушай! – открываю все конфорки на этой замызанной – после тебя, кстати, – кухонной плите. Вспоминаю про «вечный огонек» в колонке, иду в ванную – и молитвенно преклоняю колени пред дверкой, чтоб задуть огонь (пламя весьма ритуально сквозит из трех форсунок, рисуя ярящийся крест. Ты бы поаплодировал моей невозмутимости: я задерживаю дыхание, и... «Есть, стало быть, на свете божество, устраивающее наши – пффф! – судьбы»¹⁷). Затем, довольный содеянным, сбрасываю ботинки. Заметь: джентльмен до самого конца, – и ложусь на кровать, готовый отойти ко сну. Какие сны в том смертном сне...¹⁸ Далее. Я подумал, что даже Гамлет, Псих Датский, не отказал бы сам себе в последней сигарете. Будь у этого чахлого рохли *мое* мужество или хотя бы мои сигареты. И вот *как раз тогда* – нарочно так не подгадать! – едва лишь призрачная длань возникла в маленьком окошке, чтоб бросить в щель открытку, меня домой зовущую... едва открытка та спорхнула на пол... я чиркнул зажигалкой – и все стекла вынесло, к чертям.

Я ждал. Питерс хранил молчание и внимал свисту моей затыжки.

– Что ж. Все вышло, как обычно у меня: полный крах. Но в этот раз прогресс налицо, не находишь? Я-то не пострадал. Разве лишь обуглился немного, бровей-бороды лишился, но в целом – почти без потерь. Да, часы еще встали... Но, глянь-ка: снова тикают! Однако ж взрыв отбросил бедолагу-почтальона прямиком в гортензии. Полагаю, ты без труда найдешь его останки по возвращении с занятий, истерзанные чайками... лишь сумка на ремне да синяя фуражка – все воспоминания о нем. Так! Тут прямо у будки – взбесившийся пинбольный аппа-

¹⁶ Шекспир У. Гамлет, принц Датский. Акт III, сцена 1. Здесь и далее цитаты из «Гамлета» в переводе Б. Пастернака.

¹⁷ Там же Акт V, сцена 2.

¹⁸ Шекспир У. Гамлет. Акт III, сцена 1.

рат, и я тебя по-любому не слышу – поэтому слушай ты меня. Спусти пару весьма мерзких секунд, в которые я пытался разобраться, почему не сдох, я встал и подошел к двери: какой кошмар! Помню, первой моей мыслью после взрыва было: «Что ж, Лиланд, ты все пустил на дым!» Мило, не правда ли? И вот – я нашел открытку. С нарастающим неверием я расшифровал мелкие, густые карандашные каракули. Что? Открытка из дому? Меня приглашают вернуться и помочь? Как *кстати* – учитывая, что последние три месяца я паразитировал на заработках чернокожего сожителя... И вот, стоя в ступоре, я услышал этот голос. «БЕРЕГИСЬ!» – рокочет этот голос, этот грозный приказ страха. «БЕРЕГИСЬ! СЗАДИ!» Я рассказывал тебе про этот голос. Старый и добрый мой приятель, возможно, самый старый и заслуженный член совета директоров моего мозгового треста. Истинный арбитр всех моих внутренних разногласий – его легко отличить от прочих ментальных директоров по... – я тебе рассказывал, помнишь? – по властным, контрольно-пакетным интонациям заглавными. «БЕРЕГИСЬ! – гремит он. – СЗАДИ!» И я мгновенно оборачиваюсь лицом к нападающему. «БЕРЕГИСЬ! – снова кричит он. – СЗАДИ!» И я опять разворачиваюсь – безрезультатно. И снова, и быстрее, и опять – как волчок... И все без толку. А знаешь, почему так, Питерс? Потому что, как быстро ни вертись, удар в спину *невозможно* встретить лицом к лицу.

Я умолк на мгновение и закрыл глаза. Будка грохотала вокруг в какой-то анархии. Я отнял сигарету ото рта и глубоко вдохнул, надеясь успокоиться. Я слышал рупор на площади, хрипевший какими-то невразумительными инструкциями, и пулеметный треск пинбола. Но едва Питерс заговорил:

– Ли, может, дождешься меня... – я снова сорвался с цепи:

– Итак, исполнив этот маленький обрядовый танец... я стою у нашей исковерканной двери, и роковая карточка пляшет в моей руке. Я совершенно забыл, что собирался свалить прежде, чем почтальон вернется с подмогой, чтобы справиться о моем здоровье... К слову: полиция так и не нагрянула, но, пока я брился, прибыли ребята из газовой компании и перекрыли нам вентиль. Без какого-либо объяснения причин. Уж не знаю, то ли совпало так, что именно в этот момент они вспомнили о неуплате по счету, или же просто коммунальные организации обязаны тех, кто пользуется их услугами для неблагоприятных целей, карать холодной тушенкой и зубовным дребезгом по ночам. Так или иначе, стоя там с этим исписанным клочком бумаги, зажатым меж моих бедных пальцев-фрикасе, и слушая звон в ушах – этак на десяток децибел погромче, нежели собственно взрыв, – я заглянул в самые глубины своей души. Безусловно, унижительным было открытие, что эта картонка так меня зацепила, но и не менее того – удивительным. Ибо... да, черт: я думал, что нахожусь вне досягаемости когтей детства, знаешь ли. Я думал, что навсегда отгородился бетонной стеной от юных лет. Я был уверен, что нам с доктором Мейнардом удалось обезвредить прошлое – проводок за проводком, словно адскую машину. Я думал, мы прикончили и похоронили эту подлую бомбу и она бессильна против меня. И веришь ли: покуда я мнил себя свободным от прошлого – я даже не считал нужным прикрывать это направление. Так ведь? И все эти пируэты по команде «Сзади!» – все было всуе. Потому что все эти прелестные фортификации моей личности, так заботливо и затейливо возведенные на кушетке под чутким руководством Мейнарда, строились из того соображения, что опасность подстерегает меня *в будущем, впереди*, – и все они оказались бесподобно уязвимы для малейшей угрозы с тыла. Усекаешь? И эта открытка, подкрававшаяся сзади, застигла меня куда больше врасплох, нежели несостоявшийся суицид. Видишь ли, как бы ни шокировал меня этот взрыв – он был громкий и потому осознан *сразу*: апокалипсис сегодня, здесь и сейчас. Но открытка – это удар по почкам из прошлого и исподтишка. Перемахнув через все *обычные* почтовые каналы, она пронеслась над меридианами лет и самыми зловещими пустошами былого, поросшими быльем, под пронзительный визг осциллографов и прочую музыку из научно-фантастических фильмов... пронзила немые тени и дымчатые клубы над иссохшими льдами... а теперь – наезд: ага! Неприкаянная хрустальная рука появляется

над почтовой щелью, мгновение колеблется, будто химреактив, обреченный начисто раствориться, едва только мне будет вручено приглашение на встречу, назначенную на двенадцать (двенадцать? Ужель так много? Боже-бо-же!...)... *двенадцать* лет до дня доставки! Черт! Есть от чего голове пойти кругом.

Я не чаял ответа и не делал паузы, когда голос по ту сторону мембраны пытался вклиниться в мой маниакальный монолог. Рупор объявлял отправку, пинбол скрежетал и взвизгивал, лихорадочно накручивая бессмысленный счет, а я все говорил, трамбуя свои слова в телефон, не оставляя Питерсу ни мига тишины для встречных реплик. А точнее – вопросов. Наверное, я позвонил ему не столько из заботы о старом друге, сколько из потребности как-то озвучить свои мотивы – и отчаянного желания логически *объяснить* свои действия – объяснить, но не отвечать на вопросы. Вероятно, я подозревал, что даже самый поверхностный анализ выявил бы – и для Питерса, и для меня, – что никаких по-настоящему логических объяснений у меня нет ни для безуспешной попытки суицида, ни для импульсивного решения вернуться домой.

– ... Таким образом, эта открытка убедила меня, в числе прочего, в том, что дамоклов меч прошлого надо мной куда острее, чем можно было и помыслить. Подожди – и с тобой случится то же: в один прекрасный день получишь весточку из Джорджии и поймешь, как много долгов нужно раздать дома, прежде чем пускаться в вольное плавание.

– Сомневаюсь, что смогу раздать столько долгов, – сказал Питерс.

– Верно, у тебя другая картина. А мне нужно оплатить всего один долг. И одному человеку. Поразительно, сколько его призраков взбаламутила эта открытка: не меньше, чем шипов на его говнодавах. Грязная рубаха. Лапы в перчатках вечно скребут, скребут, скребут... то брюхо, то ухо... Малиновые губы, подернутые пьяной усмешкой. И множество других равно нелепых образов, есть из чего выбирать, но всех ярче – вид его длинного, жилистого тела, ныряющего в реку. Голое, белое и крепкое, как ошкуренное бревно. Это довлеющий образ. Видишь ли, братец Хэнк плавал в реке часами, тренируясь перед соревнованием. Час за часом он греб против течения, упрямо, настырно. И все время – на одном месте, в нескольких футах от пристани. Плавал бы в молоке – сколько б масла взбил! Но и так результат налицо: к моим десяти годам у него целая полка буквально *сияла* кубковым золотом. По-моему, даже национальным рекордсменом побывал, сколько-то там, в каком-то заплыве. Господи всеблагой! И всю эту светлую память мне вернула такая крохотная открытка – и с такой изумительной ясностью. Боже! Всего лишь *открытка*. Я в ужасе от мысли, что могло бы натворить полноценное письмо.

– О'кей. Ну и какого черта ты намерен добиться, вернувшись домой? Даже если ты, скажем, и сведешь какие-то дурные счета...

– Разве не понятно? Оно и в открытке: «Наверное, ты уже подросток достаточно». Оно так всегда было: братец Хэнк держался передо мной как идеал, к которому положено тянуться, – и сейчас то же самое. В психолого-символическом плане, конечно...

– О да, конечно.

– Поэтому я еду домой.

– Чтобы дотянуться до психологического символа?

– Или его опустить. И ничего смешного! Теперь яснее ясного: пока я не поквитаюсь с этой тенью из прошлого...

– Бред...

– ...я так и буду томиться своей слабостью, неполноценностью...

– *Бред*, Ли. У каждого есть своя подобная «тень» – папаша или еще кто...

– ...неспособностью ни на что, даже на отравление бытовым газом.

– ...но они не мчатся домой *равнять* себя под родичей или наоборот.

– Нет, я не шучу, Питерс. Я все обдумал. Слушай, мне безумно жаль бросать тебя в такой разрухе вместо жилья и все подобное, но я все обдумал, и выбора нет. А ты не мог бы известить деканат?

– О чем? Что ты подорвался? Что ты отправился домой сводить счета с голым призраком своего брата?

– Сводного брата. Нет. Просто скажи им... что финансовые сложности и эмоциональное напряжение вынудили меня...

– Да *ладно* тебе, друг, ты же не всерьез.

– И постарайся объяснить Моне, ладно?

– Ли, погоди. Ты не в себе. Давай я сейчас приеду...

– Уже объявили мой рейс. Время не ждет. Я вышлю тебе все, что задолжал, как только смогу. Пока, Питерс! Я намерен доказать, что Томас Вулф был не прав!

Я повесил голос Питерса, все еще протестующий, на рожки и снова глубоко вдохнул. Похвалил сам себя за самообладание. Как замечательно я все уладил. Я ухитрился со всей добросовестностью остаться в рамках, невзирая на гнусные попытки Питерса извратить нашу систему и невзирая на декседрино-фенобарбовый коктейль, неизбежно вызывающий легкое головокружение. Да, Лиланд, старина, никто не посмеет заявить, будто ты не представил убедительных и исчерпывающих объяснений, *вопреки* всем досадным помехам...

Помехи же с каждой секундой становились все досадней и настырней; я понял это, едва нырнул из будки в вокзальную суету. Неумный бутуз довел пинбольный автомат до полного лязго-лампочного оргазма. Толпа толкалась. Чемодан волокся. Рупор ревел, страшая тем, что, если я не поспешу, посадке настанет *конец*.

«Слишком мрачно!» – решил я и запил еще две фенобарбиталки водой из фонтанчика. И тотчас был подхвачен сумбурным водоворотом, что чудесным образом и очень вовремя доставил меня аккуратно на посадочную площадку перед моим автобусом.

– Оставьте багаж и займите свое место! – велел водитель с таким нетерпением, словно только меня одного и ждал. Что оказалось чистой правдой: автобус был абсолютно пуст.

– Не сезон для путешествий на Запад? – спросил я, но водитель не ответил.

Шаткой поступью я прошел по салону в самый конец (где и стану лелеять почти полную неподвижность все почти четыре дня, снимаясь с места на остановках лишь ради походов по надобности и за колой). Я стоял, сдергивая с себя пиджак, когда вдруг дальняя дверь у кабины захлопнулась с пронзительным пневматическим шипением. Подпрыгнув, я обернулся на шум, но автобус стоял в ангаре, и было так темно, что и водителя не видно. Я решил, что он вышел и закрыл за собой дверь. Запер меня тут в *одиночестве*! Внезапно заворчал двигатель, потом завыл, набирая обороты и ноты. Автобус тронулся, выползая из своего бетонного логова на полуденное солнышко, и накренился, переваливаясь через тротуар, – чем окончательно уронил меня на сиденье. Давно пора!

Я так и не видел, чтобы водитель возвращался.

Фантазмагорический хаос движений и звуков, начавшийся еще в телефонной будке, ныне вздыбился вокруг меня во всем своем анархическом блеске и бурлеске.словно ошметки моего прежнего бытия, подброшенные взрывом и флотировавшие над головой сколько-то часов, наконец стали оседать. Картины, воспоминания, лица... будто узоры штор на ветру. Перед глазами – пинбольный мерцающий грохот. В ушах – звон открытки. Живот крутит, как барабан стиральной машины, голоса ворочаются в голове, внутренний наставник рычит: «БЕРЕГИСЬ! ВНИМАНИЕ! ВОТ ОНО! НАКОНЕЦ-ТО: КРЫША ТРОНУЛАСЬ!» В ужасе я отчаянно вцепился в подлокотники.

В ретроспективе (то есть глядя отсюда, вот из этого перекрестка времени, где так удобно быть объективным и бесстрашным, – спасибо чудесам современной повествовательной техники) я вижу этот ужас четко, но с трудом верю, будто он мог сколько-нибудь серьезно воз-

никнуть из весьма банального опасения сойти с ума. Пусть в те времена и было довольно-таки модно претендовать на неизбежную боязнь за сохранность своей крыши, не думаю, что я сумел бы честно убедить себя хоть в какой-то обоснованности своих собственных подобных притязаний. Помнится, одним из видений, хороводом обступивших меня, пока я цеплялся за подлокотники, был сеанс в кабинете доктора Мейнарда. Я исповедовался ему с драматизмом обреченности: «Доктор... Я схожу с ума. Дом покосился, крыша сваливается. Это будто оползень какой!»

А он лишь улыбался снисходительно и терапевтически: «Нет, Лиланд, ты – не наш клиент. Ты, как и многие прочие в твоём поколении, – потерянные люди для подобных убежищ. Для вас почти невозможно „сойти с ума“ в классической манере. Были времена, когда люди сходили с ума по-людски – так, что больше о них ни слуху ни духу. Пропадали, как герои романтических книг. А ныне... – кажется, он даже позевывал, – ныне все слишком подкованные на предмет психологии. Вы слишком дружны со слишком многими симптомами безумия, чтоб оно подкралось совсем уж незаметно. К тому же у вас у всех талант спускать пары отчаяния через сопла изошренной фантазии. А ты... Ты – самый бесперспективный тип с этой точки зрения. Поэтому... ты можешь быть невротиком сколько влезет, до конца своих дней, порой – и депрессивным; может, даже сподобишься на недолгую экскурсию в профилакторий в Бельвю... и на пяток лет платных сеансов тебя хватит *точно* – но, боюсь, ничего по-настоящему путного из тебя не выйдет. – Он откидывается в своём элегантном кожаном кресле. – Мне жаль тебя разочаровывать, но лучшее, что могу предложить, – кондовенькая шизофрения с элементарненькой галлюцинаторно-бредовой симптоматикой».

Припомнив эти мудрые слова доктора, я ослабил пальцы, вцепившиеся в подлокотники, и, потянув рычаг, откинул спинку. «Черт! – вздохнул я. – Даже для дома скорби я – изгой. Вот ведь незадача. Безумие могло бы стать весьма удобным объяснением ужаса и извинением хаоса, отличным „пажом для порки“, ответственным за душевный дискомфорт, занятой приправой к пресной каше серых дней... Но чудовищная незадача...»

«Но... с другой стороны, – думал я, по мере того как автобус с сонным рокотом продирался по городу, – никогда не знаешь наперед: вдруг безумие окажется не меньшей дрянью, нежели здравость ума? Наверняка над ним придется трудиться. И уж наверняка память хоть изредка да проскользнет мимо верного пажа для порки – и тем безжалостнее будут плети реальности, страха, душевных терзаний, крушения идеалов, мыслей о смерти... Можно всю жизнь скрываться во фрейдистских джунглях, выть на луну и плевать проклятиями Создателю, но в конце, в самом *конце концов*, где расставляются все точки над гласными... будь уверен – прояснится *как раз* достаточно, и ты поймешь, что луна, на которую выл столько блаженных лет, – не более чем желтый плафон на потолке, а Создатель – буклет, подброшенный „Обществом Гидеон“¹⁹ в твою тумбочку. Да уж, – снова вздохнул я, – по хорошему счету, и безумие чревато теми же чрезмерными морями бед, ударами судьбы и томлениями плоти».

Я откинул спинку еще на щелчок и закрыл глаза, убеждая себя, что нет лучшего средства против обуявшего меня душевного раздора, кроме как передать все рычаги моему фармацевтическому автопилоту, курс – на страну снов. Но таблетки, против обыкновения, халтурили. И в этом десяти-пятнадцатиминутном ожидании – ровная качка, звон, рокот автобуса, плывущего по городу, совершенно пустого, если не считать единственного пассажира на заднем сиденье, – я был вынужден заняться теми самыми вопросами, от которых столь умело уклонялся.

Вроде: «И какого хрена ты намерен добиться там, дома?» Я понимал, что вся эта смутная эдипова байда, которой я пичкал Питерса, «дотянуться или опустить», отчасти правда... но даже если мне удастся так или иначе покончить с чем-то – чего я надеюсь этим *добиться*?

¹⁹ «Общество Гидеон» – межконфессиональная организация, занимающаяся распространением Библии – главным образом в местах скопления людей (в гостиницах, больницах и т. д.).

Или вот еще: «Зачем *вообще* желать проснуться мертвым?» Если вся наша славная суэта с рождения до смерти – единственная из доступных нам сует... если наш великий и чарующий Жизненный Полет – в любом случае столь краткая черточка в сравнении с эпохами минувшими и предстоящими, как можно брезговать хоть несколькими драгоценными *мгновениями*?

И наконец, в-третьих: «А если жизнь – такая суэта, зачем бороться?»

Эти три вопроса встали передо мной, будто три наглых шпанюка, что с ехидными ухмылками, уперев руки в боки, предлагают помериться силами, – раз и навсегда. Первый и разрешение получил в первую голову: он был самым насущным, да и моя поездка дала определенные подсказки. Второй оставался без ответа несколько недель, покуда обстоятельства, сопутствовавшие вояжу, не сложились в новую головоломку. А третий и поныне стоит передо мной. Пока я свершаю новый вояж. В глубины памяти о былом.

И третий – самый крутой из этой шайки.

Потому я, не мешкая, приступил к первому. Итак, чего я добиваюсь, что намерен уладить, вернувшись домой? Что ж – *себя* уладить, *себя* любимого.

– Приятель, – говорит голос Питерса в телефоне, – себя не найдешь, сорвавшись с места. Это все равно как бежать прочь от берега, чтобы искупаться.

– Есть берег Восточный, есть берег Западный! – уведомляю я его.

– Чушь! – говорит он.

Оглядываясь на ту поездку (и глядя вперед, в нынешний вояж), я могу точно вычислить, что заняла она четыре дня (отстраненность, спасибо современной повествовательной технике, дает объективность перспективы – события с позиции настоящего момента видятся словно в бесконечных отражениях двух зеркал друг в друге, и, однако, всякий образ меняется, – но возникает заковыристая проблема грамматических времен)... так вот, оглядываясь, я вижу вокзал, взрыв, салон автобуса, свой бессвязный монолог по телефону – все эти сцены разом, единым гобеленом, сотканным из событийных лоскутов.

– Что-то не так, – говорит Питерс. – Постой, Ли! Что-то случилось, черт возьми – что? Ты приехал в Нью-Йорк, чтоб узнать *что*? Но, дружище, это ж было год назад!

Сейчас я мог бы вернуться (наверное) и разгладить эти съездившиеся часы, разделить картины, выставить их в надлежащем хронологическом порядке (наверное – при терпении, решимости и правильных «колесах»), но точность – не обязательно искренность.

«Ли! – на этот раз мать. – Куда ты движешься? И *двигешься* ли ты куда-нибудь?»

И хронологически верный отчет не всегда правдив (у каждой камеры – своя точка зрения), особенно если, положа руку на сердце, не можешь честно поручиться за педантичность своей памяти...

Жирный мальчишка у пинбольного аппарата ухмыляется мне: «Можно выиграть все – кроме последней, самой лакомой!» Он ухмыляется. На его футболке – надпись «ДУЭЛЬ», трафаретными оранжевыми буквами с зеленой каймой.

Или не можешь педантично поручиться за *честность* своей памяти...

И мама проплывает мимо окна моей спальни – вечно и навсегда.

Кроме того, есть вещи, которые не могут быть правдой, даже если они *действительно* имели место.

Автобус притормаживает (я вешаю трубку, бегу к машине, подъезжаю к столовой кампуса) и снова дергается вперед. В столовойлюдно, но чинно. Люди отстраненные. Табачная поволока придает их лицам сходство с фотографиями под стеклом. Я вглядываюсь сквозь дым и вижу Питерса – он сидит за столом у сигаретного автомата, пьет пиво в компании Моны и кого-то третьего – тот уже уходит. Питерс, завидев меня, слизывает пену с усов, поражая мой глаз неожиданно розовым цветом своего негритянского языка. «Явление второе. Те же, входит Лиланд Стэнфорд», – объявляет он. Берет со стола подсвечник и театрально им салютует.

«Ярись и помни Дилана Томаса!» – призывает он, а Мона говорит: «Ли, посмотри дома: может, уронил где-нибудь?» Она – сама доброта.

Я сообщаю им, что снова провалил экзамены. Питерс утешает: «Ерунда. *Это* все?» А Мона говорит: «На днях выпало повидаться с твоей матерью. Выпало».

– Угадай, – говорит Питерс, – кто был с нами? Он ушел, как раз когда ты явился. Все такой же голый.

Пинбол распирает миганием. Я слышу дыхание Питерса в трубке – сочувственное, терпеливо ждущее финала моего припадка. «Никому, приятель, – печально замечает он, – не дано вернуться домой».

Мне хочется поведать что-то о своей семье. Я сообщаю им: «Мой отец – сраный буржуй, а брат – козел!» – «Везет же некоторым!» – говорит Питерс, и мы смеемся. Мне хочется рассказать больше, но в этот миг я слышу, как в кафе входит мама. Я узнаю ее цокот каблучков по кафелю. Все оборачиваются, смотрят – потом снова возвращаются к питию кофе. Я не могу найти монетку, мама стоит, обводит взглядом портреты на стенах. Она касается пальцами своих черных волос, и мне вдруг становится больно смотреть на нее: она вся сияет косметикой. Она деловито подходит к барной стойке, кладет косметичку на один стул, куртку – на другой, сама садится между.

«И все же, приятель, чего ты добьешься?»

Я вижу, как мама берет чашку кофе... ее локоть покоится на стойке, пальцы обнимают чашку... вот она скрестила ноги под серой юбкой, ее локоть сползает к колену, она медленно разворачивается на круглом стуле. Я жду, пока локоть не опустится, а рука не погрузит чашку на замершую в ожидании платформу. Но вдруг мама видит нечто и так пугается, что роняет чашку. Я оборачиваюсь – но он снова успел исчезнуть.

Я прошу стакан воды. Его приносит почтальон; рупор призывает на посадку. Почтальон говорит: «Что ж, по крайней мере одного ты добьешься, вернувшись домой: узнаешь, правда это или нет». – «К чему бы это?» – недоумеваю я, но он убирается со сцены серией кульбитов. Я понимаю, что такая уж у него, у почтальона, система.

Разрывается телефон – этот кошмарный, тронутый плесенью патины священник, матушкин приятель, звонит мне из Нью-Йорка, доложить о случившемся. И поведать, как расстроило мою матушку известие о моем провале на экзаменах. И как ей было жаль, что она меня подвела. И как ему жаль. И как он понимает и разделяет мою безмерную скорбь, а засим предлагает вот какое утешение: все мы, все и каждый из нас, мой мальчик... *узники* своего бытия. Я возражаю в том смысле, что не больно-то это умно и того менее – утешительно, но, когда я лежу в своей кровати и луна тушью тюля татуирует мое тело, я вижу эту картину: крохотная птичья клетка, похожая на хрустальный гроб, скользящая вверх по спирали, и моя мать – внутри, исполняет свой чахлый танец из заданных па, а клетка, огибая бетонную твердь, стремится к сорок первому этажу, где рельсы выпирают в пространство.

«*Кто* ее запер?» – кричу я, и снова врывается почтальон с открыткой в руке. «Весточка из тайного прошлого, сэр, – хихикает он. – Сокрытка!» – «Фигня!» – говорит Питерс.

Меня осеняет... что... если я столь же уязвим перед этим миром прошлого, как была она... то, наверное, любое возможное будущее отторгает меня – послушай, Питерс! – ибо я всегда знал, что обречен тянуться к *воспоминаниям*.

«Тоже фигня!» – говорит Питерс на другом конце провода.

«Нет, послушай. Эта открытка пришла как раз вовремя. Наверное, он прав. Наверное, я теперь Подрос Достаточно, понимаешь? Окреп Достаточно, чтоб предъявить права на солнце, которое у меня украли... Озверел Достаточно, чтоб заставить считаться со своими правами, даже если придется развеять по ветру привидение, отбрасывающее эту тень!»

Взбудораженный этой перспективой – а также настойчивыми гудками автобуса, которыми тот старался согнать в густой поток хайвея робкий молоковоз, загородивший нам путь на

перекрестке, – я моментально выпал из забытья. Я был чертовски вял и выжат, но ощущение качки ушло. А ужас уступил место своеобразному томному оптимизму. Ибо что, если малыш Лиланд *и впрямь* подросток достаточно? Возможно ли такое? А? Хотя бы – по *годам*? А Хэнк – уже не тот юный лось. Много воды утекло с тех дней, когда он брал призы в своих заплывах. Я лишь вхожу в расцвет сил, а Хэнк уже миновал свой, миновал *неминуемо*! Так могу ли я вернуться и сразиться со своим прошлым за руины под фундамент будущего? Фундамент под обитель поуютнее? Бог свидетель, *это* стоит возвращения...

Молоковоз наконец нырнул в поток, и автобус вслед за ним. Я позволил глазам закрыться, а голове – снова откинуться назад; эйфория звенела во мне ясными тонами уверенности. «Что скажете на это, ребята? – поинтересовался я у тех, кто стоял в своих тенях поблизости. – Есть ли у малыша Лиланда какие-нибудь шансы против этого неотесанного чурбана, что бросил мне вызов из прошлого, чтобы снова уколоть своей усмешкой? Вправду ли есть у меня *шанс* отвоевать у него ту жизнь, что он похитил, ту жизнь, которая, как ведаем мы оба, была моей? Моей – по праву? Моей – *по справедливости*?»

Но не успел ответить кто-либо из моих друзей, сам призрак выполз из пучины зыбкого тумана и с головою окатил меня жемчужным пузырем, что градом рассыпал серебристую барбитуратную пудру. Все еще опьяненный самоуверенностью, я приподнялся с сиденья, чтоб бросить нависавшему надо мной ухмыляющемуся гиганту в свитере, номер 88: «Куда ведешь? – Я пронзаю его самым роковым шекспировским взглядом, какой способны изобразить мои телячьи глаза. – Я дальше не пойду!»²⁰

«Вот как? – Ехидная усмешка играет на его губах. – Так, значит, не пойдешь? Да черта с два не пойдешь! А теперь, дружок, прижми хвост и слушай сюда! Итак, ужель не слышал ты мой зов?»

«Нет твоей власти надо мною! – Мой голос подрагивает. – Ничуть!»

«Ага, вы только послушайте! Пацаны, базарит он, что моей власти нету ни фиги над ним! Все слышали: нет моей *власти* над сим умником. Нет, видишь ли, Малой, лишь раз еще снесу твою я борзость, а после – истощусь терпеньем! А посему – живее, *шевелись*! И суетиться прекрати! Стоять спокойно! И *идти* ко мне!»

Наш юный герой, запуганный, смятенный и расстроенный до краха, трепещет, вжавшись в землю, содрогаясь всей своею протоплазмой. Гигант же тычет в этот жалкий сгусток носком шипованного башмака. «Вот блин – он блин и есть! Вы только гляньте, сколько грязи от него, ребята! – Он воздевает голову и вызывает: – Соберите его совком, отнесите в дом и как-нибудь приспособьте к нашему делу! Вот блин!»

Из всех флигелей выпархивает свора родни. Их клетчатые рубахи, шипованные ботинки и мужественные фигуры изобличают в них ремесло лесорубов; схожесть черт указывает на принадлежность к одному семейному клану: у всех внушительный римский нос, волосы цвета мокрого песка, в коих играет ядреный северный ветер, и зелено-стальные глаза. Они прекрасны своей грубой красотой. Все, кроме одного – Самого Мелкого, чье лицо обезображено частым использованием вместо доски семейного дартса. Дротики – зазубренные, и плоть, истерзанная ими, свисает клочьями. Несчастный уродец поторопился – и, оскользнувшись, шлепнулся наземь. Гигант наклоняется, подхватывает беднягу двумя пальцами, дарит ласково-снисходительной усмешкой, какую берегают для сверчка.

«Джо Бен, – терпеливо поучает гигант, – разве я не *твердил* тебе все время: „Поспешишь – людей насмешишь“? Разве ты не знаешь, что если бежать впереди паровоза, то можно сбиться с колеи и отбиться от клана? Что люди скажут: Стэмпер, который то и дело плюхается на задницу! А теперь иди и помоги своим родичам собрать тряпками моего маленького братика, пока он не утек к сусликам в норы. Давай!»

²⁰ Шекспир У. Гамлет. Акт I, сцена 5.

Он ставит Самого Мелкого на землю и с нежностью смотрит, как тот семенит к месту уборки. «Славный дружище Джоби! – Хэнк улыбается преданному гномику, будто бы выдавая свое любящее сердце, что бьется под этой кондовой оболочкой. – Как здорово, что старик Генри не стал его топить, как остальных щенят в помете. Джо хорош уж тем, что над ним можно поржать».

К этому времени родичи уже сподобились собрать нашего истаявшего героя в полиэтиленовый мешок и потащили его в дом. В пути, пролегающем по живописной болотистой местности, храбрец преодолевает свой испуг в достаточной мере, чтобы вновь обрести некое человеческое подобие.

Дом предстает хаотичной грудой обрубков бревен, торчащих в небо; дверь можно открыть, лишь сунув бревно в огромную замочную скважину. На мгновение юный Лиланд сквозь стены прозрачного своего капкана различает опасность, подстерегающую в просторной зале, – волкодавы разгуливают меж колонн из вековых елей. На рукоятках двуручных секир, воткнутых прямо в колонны, небрежно развешены заскорузлые шерстяные куртки. Затем дверь захлопывается, гулкое эхо гуляет в далеких сводах – и снова все погружается во тьму.

Это великий Замок Стэмперов. Он был возведен во времена Генриха (Стэмпера) Восьмого и на протяжении столетий являл собою бельмо в глазу любой законной власти в этих землях. Даже в самую убийственную засуху здесь слышится капанье воды, а лабиринт затхлых коридоров наполнен неизбыточным кваканьем слепых жаб. Этот звук прерывается лишь грохотом обрушения какого-нибудь брошенного флигеля, и целые колена клана сгинули без вести в хитросплетениях ходов.

Здесь царит абсолютная монархия, и никто, даже наследный принц, и шагу не ступит без дозволения Великого Государя. Хэнк идет в голове процессии родственников и, сложив ладони рупором, вызывает к августейшему монарху:

«А! Па!»

Этот рев рокочет в чернильном мраке, с треском разбиваясь о деревянные стены. Он орет снова – и на сей раз вдали загорается свеча, выхватывает из темноты сначала корявый профиль, а потом – и весь страхолюдный образ старого Генри Стэмпера. Он восседает в кресле-качалке в ожидании своего столетия. Его ястребиный клюв неторопливо поворачивается на звук сыновнего голоса. Его ястребиные глаза пронзают сумрак. Он громко кашляет, отплеывается тлеющими угольками, шипящими в замковой сырости. Снова кашляет и говорит, вглядываясь в полиэтиленовый мешок:

«Ну чё... эй, кутята... хи-хи... чё это там за *хрень*? Чё на *этот* раз в речке плавало, а? Вот *вечно* вы всякое барахло в дом тянете!»

«Да мы его не то что вытянули, па. Скорее *выманили*».

«Да рассказывай! – Он подается вперед, проявляет больше любопытства. – Какой мерзкий отброс... и что б это могло быть? Приливом прибило, что ли?»

«Боюсь, отец, – Хэнк, понутив голову, елозит башмаком по полу, терзая шипами белую сосну, – что это, – он скребет брюхо, сглатывает, – сын твой младший, Лиланд Стэнфорд».

«*Проклятье!* Я говорил тебе и повторял *несчетное* число разов: я не желаю – *никогда!* – слышать в этих стенах имя этого *лишенца!* Фу. Невмочь и слышать мне о нем, не говоря уж *лицезреть!* О господи, сынок, как мог ты дать промашку столь жестокою?»

Хэнк подступает к трону: «Па, я знал, что творится у тебя на душе. И сам чувствовал то же – а может, и того похлеще. И тоже не хотел бы слышать о нем до самой что ни на есть гробовой доски. Но я не вижу выхода из ситуации, в которую мы вляпались».

«Какой такой ситуации?»

«С работой».

«Ты хочешь сказать...» Старик ловит ртом воздух, заламывая руки в невольном ужасе.

«Боюсь, что так. Мы дошли до края, старик, до самого дна. Знаешь, оставив Джо Бена, мы уже скребли по дну бочонка. Поэтому, сдается мне, *выбора* у нас не было, па...» Он ждет, скрестив руки...

(В предгорьях прерывистым сном спят вороны. Джесси вышивает свою жизнь игрой нужды, одиночества и чарующего невежества. В старом доме дискуссия по поводу идеи Джо Бена связаться с родичами из других штатов вдруг прерывается требованием Орланда ознакомиться с бухгалтерией. «Я принесу», – вызывается Хэнк и выходит на лестницу... радуясь возможности хоть на минуту вырваться из этого суматошного бедлама...)

Генри брезгливо пялится на юного Лиланда, который из пластикового пакета приветствует своего досточтимого папашу помахиванием немошной лапки. Генри качает седовласой головой:

«Итак. Вот оно как, значит? *Дожили*, значит... – Тут, распаленный внезапной яростью, он тяжело поднимается из кресла и тычет тростью в родичей, толпой холопствующих у трона. – А разве я не *говорил* вам, ребята, что оно так обернется? До посинения твердил: „Пошлите куда подальше своих сестриц, кузин и все такое и притащите толковых баб *со стороны* для улучшения породы!“ Меня тошнит от вида таких рохлей и полудурков, в которых вы выродились. Нельзя нам жить одним кровосмешением, как стая куцехвостых *дворняг*! Семья должна быть *здоровой* и крепкой, и ее устои надо укреплять! А слабаков я не потерплю! Никак не потерплю! Вот пример того, как *я сам* сломал эту гнилую фишку, – Хэнк, мой мальчик...»

Его лицо на мгновение замерло, и взор вновь озарил остатки Лиланда в пакете, но затем стоические черты скривились унижением. Он упал обратно в качалку, тяжело дыша и хватаясь за измученное сердце. Когда припадок прошел, почтительно заговорил Хэнк:

«Я знаю, как все было, па. Я в курсе, как он отнял у тебя молодую и верную жену, отнял своей хворостью и хныканьем. Но вот что я себе подумал, когда понял, что нам придется выудить этого неприятного субъекта. – Он подкатывает к трону бревно и усаживается на него, придвигаясь доверительно. – Я прикинул... мы – прежде всего *семья*, и это самое важное. Нам нужно беречь себя от всякого злчного семени. Мы не свора ниггеров, или жидов, или еще каких *плебеев*. Мы – *Стэмперы*!»

Трубный салют. Хэнк, вертя в руках каску, дожидается, пока не доиграет Семейный Гимн.

«И самое *важное* – поставить себя перед плебеями так, чтоб даже *думать* зареклись о *родстве*!»

Вопли и свист. «Крепко сказано, Хэнк!», «Во-во, парень!», «Да уж!».

«А единственное средство добиться этого – *сохранить нашу империю*, пронести ее хоть через Потоп, хоть через Армагеддон. И сколько бы нашего сора ни пришлось замести обратно в избу – только так мы докажем свое расовое превосходство!»

Аплодисменты пуще. Челюсти суровеют и кратко кивают, выражая мужественное одобрение. Старик Генри утирает глаза и сглатывает комок. Хэнк – высится. Он выдирает из колонны двойную секиру и патетично ею машет:

«И не мы ли расписались кровью под обетом сражаться до последнего нашего и за последнего человека из нас? Что ж... *время битвы* настало!»

Трубы громче. Присутствующие, во главе с Хэнком, заводят хоровод вокруг стяга, реющего посреди зала. Они пляшут, каждый – возложив твердую руку на правое плечо следующего, и распевают попури из боевых песен Первой мировой войны. Теперь, когда кризис миновал, меж родичей воцаряется дух победы и фронтового братства. Они ликуют до хрипоты, подзадоривая друг друга: «Да ясен-красен! К гадалке не ходи! Верняк!» Оказываясь у пластикового пакета, они норовят запрятать стыд под вуаль шутивности: «Есть на что глянуть!» – «Обещая „до последнего из нас“, мы и не думали, что оно будет вот таким *последним*».

«А ты уверен, что оно точно „последний человек“? Тут бы учет учинить».

«На хрен! Пушай живет. Лучше не доставать эту гадость из пакета: опять ошметки тряпкой собирать!» – остерегает их Хэнк.

(Хэнк поднимается по ступенькам, слегка нервничая. Он сворачивает в коридор, идет к комнате, приспособленной под кабинет. Слышит окрик Вив с кухни, где она с другими женами моет посуду: «Ботинки, дорогой!» Он останавливается и, держась одной рукой за стену, избавляется от пыльных башмаков. Стягивает и шерстяные носки, сует их в ботинки и продолжает путь босиком, тяжело вздыхая...)

Вожди клана восседают на корточках перед старым лепным камином и методично плюются жевательным табаком в очаг. Каждая такая слюнно-табачная бомба разверзается дивным пламенем, ласкающим суровые лица затейников веселенькими алыми сполохами. Все раскрывают складные ножи и принимаются резать плитки. Кто-то прочищает глотки...

«Парни! – продолжает Хэнк. – Вот наш первоочередной вопрос: кто научит мальчишку рассекать на мотоцикле, тискать кузин и всякое такое прочее?»

(Оказавшись в кабинете, Хэнк стоит пару секунд, зажмурившись, потом подходит к бюро, где лежат документы, запрошенные Орландом. Отыскивает бумаги в папке, подписанной изящным почерком Вив: «Доход и расход, январь – июнь 1961». Задвигает ящик на место, идет к двери, приоткрывает ее на несколько дюймов, но не спешит ступить в коридор. Он стоит, разглядывая пожелтевшие обои, чутким ухом обратившись к жуужжанию беседы внизу. Но не может разобрать ничего, кроме лающего смеха этой маленькой сучки, жены Орланда...)

«Кто научит его бриться топором? Укрощать ниггеров? Мелочей в нашем деле нет! Кто проследит, чтоб он сделал наколку на руке?»

(С кухни слышится смех Орландовой сучки, похожий на треск сухих сучьев. Захлебывающийся светом аппарат взрывается стальным гитарным стаккато: «Кочегар, угля поддай – душа несется в рай... двигай вперед». Ивенрайт вываливается из бара, идет к машине, соснуть пару часиков. Его кулаки рассаднены, но гордость так и не утолена: и кто мог подумать, что этот увалень в баре помнит всех игроков всех юниорских Кубков штата за последние двадцать лет? Джонатан Дрэгер лежит под одеялом, подобный невозмутимому горному хребту, а его лицо, прекрасное и бесстрастное, покоится точно по центру подушки. Ли приваливается к стеклу: автобус притормозил перед знаком «Стоп». Хэнк делает глубокий вдох, распахивает дверь кабинета, шагает в холл. На лице воцаряется воинственная веселость, он насвистывает и похлопывает себя по бедру доходно-расходной папкой. Джо Бен выходит из ванной, мешкает перед лестницей, застегивая мешковатые штаны, дожидается приближения кузена...)

– Только гляньте на него! – Джо кривится в саркастической ухмылке. – Посмотрите на это насвистывающее, ногошлепствующее чудо пофигизма! – фыркает он почти что на ухо Хэнку, когда тот подходит.

– Наружность, Джоби. Помнишь, что говорит батя про наружность?

– В городе, может, и проканают, но кого трогает наружность в *этом* крысином выводке?

– Джо! Дружище, то, что ты называешь крысиным выводком, – *твоя семья*.

– Только не Орланд. Только не он. – Джо роется в кармане брюк в поисках семечек. – Хэнк, тебе бы рыло ему начистить за его слова.

– Тихо. И угости меня семечками. Да и потом, с какого лешего мне чего-то там чистить моему старому доброму кузену Орли? Он не сказал ничего...

– Ладно, может, наговорил-то он не так уж много, на словах, но, когда люди в городе и так черт-те что думают о Лиланде, его матери и вообще...

– Черт, да мне не похрен, чего они там думают? Самые дурные мысли, Джоби, даже царапины на заднице не сделают.

– И все равно...

– Ладно, брось. И дай мне этих... твоих.

Хэнк протянул руку. Джо Бен отсыпал ему горсть. Семечки были последней маниакальной страстью Джо, и за те месяцы, что он с семьей прогостил у Хэнка в старом доме, покуда в городе строился его собственный, шелуха заполонила коридоры. Двое мужчин, опершись на потертые брусья, что служили перилами, несколько минут сосредоточенно и молчаливо лузгали семечки. Хэнк чувствовал, что успокаивается. Еще немного – и будет готов вернуться вниз и бодаться дальше. Если б только Орланд – а он, как член школьного совета, естественно, озабочен своим общественным положением – помалкивал о прошлом... Но Хэнк знал, что не дождешься от Орланда такой сознательности.

– Ну, Джо, – он выкинул остаток семечек, – пошли, что ли?

Хэнк решительно подхватил ботинки, сплюнул лузгу и затопал вниз по ступенькам, готовый тараном вломиться в свару сородичей. Он говорит сам себе: «Черт, дурные мысли не оставят даже синяка».

А на западе, неделю тому назад, Индианка Дженни, все обдумав, сказала себе, что у Генри Стэмпера, должно, имелись особые причины, чтоб избегать ее, и дело не в том, что она индианка. Разве не путался он со скво ячатов на севере? А с этими скво из Куз-Бея? Так что против индианок у него ничего нету... а ее – чурается. Видно, тут *рядом* с ним есть кто-то такой, кто мешает Генри водиться с индианками... Кто-то *еще*, их главный злой разлучник во все эти годы...

Спустившись, Хэнк свернул собрание как можно быстрее, сказав родичам:

– Давайте отставим это, покуда не получим ответы на наши письма. Но если все-таки мы порешим рубить лес для «ТЛВ», просто имейте в виду: если б мы вели свое дело так, чтоб городу угодить, мы бы прогорели много лет назад. – Себе же он сказал: «Ну, даже если синяк-другой мысля какая и набьет, так пара синяков – пара пустяков!»

На севере Флойд Ивенрайт разбужен дорожным полицейским. Бормочет «спасибо», перебирается с заднего сиденья за руль, ищет какую-нибудь автозаправку с сортиром. Где клятвенно обещает своему красноносому и красноглазому отражению в зеркале над раковиной, что заставит Хэнка Стэмпера проклясть тот день, когда этот чертов выскочка, не без «лапы» своей важной семейки, пролез на Кубок штата в обход достойных парней!

Хэнк же, через десять минут после роспуска собрания, расположился в сарае, прильнув щекой к теплому, барабанно упругому, пульсирующему брюху джерсейской молочной буренки. Он ухмыляется сам себе, гордясь той хитростью, с какой выманил право подоить корову, услав Вив убираться на кухню.

– На сей раз я это сделаю – но только на сей, женщина! – уведомил он ее. – И не надейся на будущее!

Она улыбнулась, отвернувшись. Он понимал, что ее этим непреклонным тоном не провести, как не провести Джо насвистываньем – там, на лестнице. Вив тоже были известны слова старого Генри касательно наружности. Но Хэнк задавался вопросом: а ведает ли жена, какое райское наслаждение получает он от дойки?

Приложив ухо к холеной шкуре, он слышит, как воркует коровья утроба. Он обожает этот звук. Он обожает корову. Он обожает ее тепло и музыку молока, ритмично звенящего о стенки ведра. Маразм, конечно, держать дойную корову в наши дни, когда молоко на рынке дешевле корма, но, черт возьми, какая же отрада для руки, натруженной топориком, – это коровье вымя. А чарующее урчание коровьего брюха – услада ушей, изнуренных гундежом и пердежом старика, балаболом Джона и скрежетом Орландовой супружницы. Да ладно: все это – фигня и пара пустяков.

Молоко задорно звенит в ведре, и звон его постепенно тонет, вязнет во вздымающейся белой пене – звучит далеким колокольчиком сквозь густую сливочную пелену-перину.

Это колокол Хэнка.

На реке моторка взрезает воду, устланную листьями: Джо Бен переправляет народ партиями. Взрыкивают машины, расплывают колесами гравий, выбираясь на трассу. Гипсовая нога Генри грохочет по причалу.

Маразм, конечно, – держать корову.

В темнеющем небе, где копыта елей царапают облака, уж возшла луна – будто брошенная подруга, поспешающая за скрывающимся от алиментов солнцем. Звонит, звонит колокол Хэнка.

Но, боже всемогущий, какое все-таки блаженство – прильнуть к ее теплу!

Старик расхаживает по причалу взад-вперед, цокает гипсом с неумолимостью дятла, потрясает плюмажем волос, желтоватых и жестких, похожих вблизи на связку сломанных зубочисток. Но с пятидесяти ярдов они кажутся белыми, как горный снег. И побитые пьянством щеки Джона с пятидесяти спасительных ярдов сияют здоровым румянцем. И жена Орланда садится в лодку с вальяжностью и грацией чистокровной кобылицы. Увечная физиономия Джо Бена светится в сумерках над зеленой водой, чистая, как лик на камее, а его картофельных форм супруга плывет лебедем в своей просторной накидке в горошек. С пятидесяти ярдов.

Это колокол Хэнка – сокрытый клочьями пены, тонущий в теплых белых долинах, – это звонит колокол Хэнка.

Вив, разбирая на кухне архитектурный ансамбль из грязной посуды, отбрасывает кистью прядь волос, которая вечно падает на лоб, когда спешишь, и мурлычет: «Мои глаза узрели чудо появления... ленья... лень...» Собаки оживляют задний план, предвкушая оленьи кости и хлебные объедки в подливке, сваленные в корыто. За сараем в саду аскетичные деревца с пыльными серо-зелеными листьями, что уже курчавятся по краям, протягивают солнцу свои дары – медные яблоки, – и летнее солнце, нисходящее в океан, древнее и величавое, благо-склонно принимает подношение. Чайки мечутся над красными волнами; оголтелые стаи черных бакланов, уверенных в том, что без них море невысказано, проносятся в метре над водой, подмечая каждую крошку, каждую рыбешку, и стремительно пикируют вниз – в последний раз, перед тем как угнездиться на волнах черными крапинками на одеяле спящего моря.

Звон колокола – будто рябь на воде, и круги расходятся во все стороны.

В городе мистер Гриссом читает комиксы с полки, в глазах блистают Бэтмен и Робин²¹ и анальгетик. Мозглек Стоукс вываливается из дому и ковыляет по тротуару, похожий на комическую черную цаплю, шарк-прыг-шарк, добросовестно меряет собственными ногами расстояние от своего магазина до книжной лавки сына, желая убедиться, что никто не украл ни дюйма тротуара. Тренер Льюллин свистит в свой свисток и посылает команду в последнюю схватку – потную, обрыдлевшую: они сегодня разыгрывали эту комбинацию уже с дюжину раз; Хэнк бросается прямо на колено защитника, ловко уклоняется, отпрыгивает, принимая контратаку на бедро. Защитник валится на землю с усталым вздохом, и они катятся вместе по полю, намазывая на себя запах травы и песка, а полузащитник прыжками мчится вперед, в образовавшуюся брешь. Тренер свистит, созывая всех в круг; тонкий свист прошивает сумерки золотой канителью...

– Хэ-энк...

Славно было бы, кабы этот колокол всегда звонил вот так...

– Хэнк?

Но трудно приструнить иные тона.

– Он там, в сарае, Джо.

– Хэнкус? – Джо Бен сует свою физиономию в окошко сарая, сплевывает лузгу. – Я сочинил открытку Лиланду. Хочешь что-нибудь приписать, от себя лично?

²¹ Бэтмен и Робин – персонажи комиксов «Бэтмен» (с 1939 г.) Билла Фингера и Боба Кейна: Бэтмен, человек – летучая мышь, – борец с преступностью; Робин, Чудо-Мальчик, – его друг и ученик.

– Сейчас выйду. Еще пару капель из нее выдавлю – и выйду.

Голова Джо убирается. Хэнк сует складной стульчик на короб, где ютится аварийный генератор, и с ведром молока идет к двери. Распахивает дверь плечом, затем снимает хомут с меланхоличной рогатой головы, легким шлепком выгоняет корову на выпас.

Когда он входит в дом с ведром надоенного молока, норовящим боднуть в ногу, Вив уже управилась с посудой, а Джен поднялась наверх, укладывать детей спать. Джо, склонившись над открыткой на обеденном столе, внимательно перечитывает ее.

Хэнк ставит ведро на полку возле раковины, вытирает руки о ляжки:

– Давай-ка посмотрим... Наверное, и мне пару словечек добавить надо бы.

...а почтальон, чихая кровью над столом в третьем классе, внушает начальнику:

– Не думаю, что это был несчастный случай. Думаю, для простого совпадения слишком *четко* сработано. Думаю, тот парень – опасный псих, и как знать, не было ли у него *умысла*?

А пинбол мигает огнями. А облака маршируют над землей. Автобус, пофыркивая, наконец всовывает тупое рыльце в дорожный поток и вальяжно, помпезно плывет на запад, мимо ярких, лубочных сельских пейзажей. Появляется рука. Открытка спархивает вниз, бьется об пол, взрывается, круша оконные рамы. Газон дыбится, щерясь изумрудным блеском. Ивенрайт устраивает свои ягодицы на сиденье унитаза в туалете при очередной автозаправке, раскрывает новую упаковку «„Тамз“ для животика». Джонатан Дрэгер покидает собрание в «Красном утесе», не досидев и до половины, извиняется предстоящим вояжем на север, в Юджин, но вместо этого идет в кафе, где садится за столик и пишет в своем блокноте: «Человек *не уверен ни в чем, кроме своей способности потерпеть неудачу*. Это самое глубокое из всех наших убеждений, и неверующий – еретик, сектант – вызывает в нас гнев самый праведный. Школьник ненавидит зазнайку-одноклассника, утверждающего, будто может пройти по забору и не упасть. Женщина презирает девицу, уверенную в том, что ее красота очарует „принца“. Рабочего ничто так не злит, как *убежденность* хозяина в верховенстве управления. И этот гнев можно приручить и использовать».

А в салоне автобуса, откинувшись на спинку сиденья у окна, Ли дремлет, пробуждается, снова засыпает – и редко когда открывает больше одного глаза, дабы уделить внимание Америке, проносящейся перед затемненными стеклами его очков... ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ... СТОП... КОНЕЦ ОГРАНИЧЕНИЯМ... СДЕЛАЙ ШАГ К КАЧЕСТВУ... элегантная светская молодежь развлекает друг друга в ресторанах... ВСЕ ВПЕРЕДИ... та же молодежь элегантно отдыхает у себя дома от суровостей светской жизни... ВНИМАНИЕ... ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ... СТОП... КОНЕЦ ОГРАНИЧЕНИЯМ...

Ли дремлет и пробуждается, восседая над брнчащим мотором автобуса, идущего на запад (*Ивенрайт перемещается на юг по трассе 99 марш-бросками, от одного сортира к другому*), равнодушно дремлет и просыпается, взирая на дорожные знаки, мелькающие за окном (*Дрэгер едет из «Красного утеса», часто останавливаясь, чтобы выпить кофе и сделать заметки в своем блокноте*), и нисколько не жалеет, что не прикупил какого-нибудь чтива в мягкой обложке (*Дженни наблюдает облака, марширующие к морю, и басовито, псалмовито заводит: «О облака, о дождь, небесная роса...»*). От Нью-Хейвена – до Нью-Арка, далее – Питсбург – ТАМ, ГДЕ ЖИЗНЬ, – где много ровных белых зубов без единой дырочки, клубки спагетти под чесночным соусом – ГДЕ ДРУЗЬЯ – и пивные банки, тычущие ярлыками в камеру (*Проклятый понос, черт его раздери! Притормозив у очередной автозаправки, Ивенрайт присовокупляет новый счет к пухлой пачке, что предъявит своей Немезиде*). Кливленд и Чикаго. «Возьми от жизни все... на трассе 66!» («Владельцы кафе гораздо несчастней обычных работяг, – пишет Дрэгер. – Обычный работяга отвечает только перед своим боссом, для владельца же кафе каждый босяк с баксом – босс»). Сент-Луис... Округ Колумбия... Канзас-Сити... Только для НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН – МЕННЕН СПИДСТИК, превращает запах пота в истинно мужской аромат! (*Да кем он себя возомнил, жлоб упертый? Господом*

Богом?) Денвер... Шайенн... Ларами... Рок-Спрингз... КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. (*«И самый крепкий орешек, – пишет Дрэгер, – всего лишь скорлупа».*) Пока-телло... Бойсе... ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОРЕГОН. ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ СТРОГО НАКАЗУЕМО. (*«Посмотрим, что ты запоешь, когда я суну этот доклад тебе прямо в твой задранный нос!»*) ...Бёрнз... Бенд... 88 МИЛЬ ДО ОРЕГОНСКОЙ ЯРМАРКИ В ЮДЖИНЕ. (*«Человек, – пишет Дрэгер, – является... должен... надеется... не может».*) ...Систерз... Рэйнбоу... Блю-Ривер... (*«О облака, – речитативом напевает Дженни. – О дождь, излейся на того, кого тебе укажет скво...»*) ...Финн-Рок... Вида... Либург... Спрингфилд... и лишь в Юджине он окончательно очнулся. Прodelал весь свой путь, того и не осознав толком. На остановках он покупал шоколадные батончики и кока-колу, посещал санузел, а затем возвращался на место, даже если до отправления оставалось добрых двадцать минут. Но по мере приближения к Юджину окружающая действительность все настойчивее ломилась в наглухо запертые двери его восприятия, громыхая ржавыми замками, и, когда автобус – другой автобус, рахитичный и неудобный, – натужно пополз в горы, отделявшие побережье от долины Уилламетт и остального континента, прилив возбуждения и живости охватил Ли. Он глядел на зеленые горы, почетным караулом выстроившиеся перед ним, на овраги и расщелины, что были все глубже и шире, на облака в серебристых саванах, похожие на дирижабли, привязанные к земле прямыми и тонкими шлейками осеннего дыма. И на огромные, рычащие трелевщики, терзающие дерн грунтозацепами, вспарывающие девственную природу осками злорадных радиаторов... они были подобны (подобны родительнице Гренделя – такой метафорой, наверное, я разразился бы сейчас ради продолжения аллитерационного ряда, но в детстве они представлялись мне скорее зловещими драконами, что по ночам вылезали из своих пещер в чародейских горах и тиранили мои младенческие сны. Воздушные корабли, сотканые из серебристой дымки, исчадия «Дженерал моторс»... все они воскресли, ожившие символы чудесного и чудовищного, явно не последние из тех, что прилетели за открыткой из Орегона. Воздушные корабли и исчадия «Дженерал моторс» – эта восставшая детская антитеза, эти образы полета и погрома были первыми моими видениями в том путешествии, что заставили меня встрепенуться. И первым знаком того, что, возможно, я поспешил со своим решением).

– Я все еще могу развернуть оглобли, – напомнил я себе. – Я могу это сделать.

– Что – это? – спросил субъект, сидевший напротив через проход, – этакий небритый бурдюк с истинно мужскими ароматами, прежде мною не замеченный. – Вы о чем?

– Ни о чем. Извините. Я просто думал вслух.

– А... А я вот во сне разговариваю, верите ли? Как есть. Моя старуха от этого сама не своя.

– Что, заснуть не может? – сочувственно уточнил я, чуточку смущенный своею оплошностью.

– Ага. Но не потому, что я мешаю. Она не спит, глаз не смыкает, потому как ждет, когда я бредить во сне начну. Бойтся, что пропустит чего-нибудь... В смысле, не то чтоб меня на чем-то таком подловить – она смекает, что я уж давно не ходок, или хоть должна уже смекнуть, – но просто, как она сама говорит, для нее мой бред – вроде как предсказание, пророчество. Я ж во сне – полный Нострадамус!

И, поспешив доказать свое заявление, он уронил затылок на подголовник и закрыл глаза. Широко ухмыльнулся – «Сам увидишь!», – его губы разомкнулись, размякли, и через минуту-другую он уже храпел и бормотал: «Не надо покупать участок у Элкинза. Заруби на носу...» Боже великий, думал я, глядя на желтые зубы этого очередного дракона, что скалились, как радиаторная решетка, и к чему же ты возвращаешься?

Я отвернулся от этого дрябло-щетинистого авгура и уставился в окно, изучая все более мельчавшую геометрию сельхозугодий долины Уилламетт: прямоугольники ореховых рощ, параллелограммы бобовых полей, зеленые трапеции пастбищ, испещренные рыжими крапин-

ками-скотинками – картина осени мазками абстракциониста, – и пытался уверить себя: ты просто вернулся в старый милый Орегон – и все тут. Старый, милый, цветущий Орегон...

Тут «сновидец» икнул и конкретизировал: «...Участок *сплошь* порос бурьяном и чертополохом». И мои утешительные картины развеялись, как утренний туман.

(...всего в нескольких милях перед автобусом Ли, на той же дороге, Ивенрайт решает наведаться в дом Стэмперов перед поездкой в Ваконду. Он желает припереть Хэнка к стенке неоспоримым свидетельством, посмотреть в лицо ублюдку, когда тот убедится, что и на него нашлась управа!)

Мы перевалили через гребень и покатили вниз. В глаза мне бросился знак на узком белом мосту, стоявший там, будто часовой моей памяти. «Ручей Дикаря» – уведомлял знак, имея в виду ту речушку, что мы как раз пересекли. Занятно: старина ручей Дикаря; сколько выжимало мое детское воображение из этого имени, когда мы с матушкой ездили в Юджин. Я прильнул вплотную к окну, пытаюсь разглядеть, живы ли поныне те существа, которыми моя фантазия населяла эти первобытные берега. Ручей Дикаря – точно жив, бежит прямо под шоссе, такой привычной, ворча и фыркающей, с пеной, клокочущей во мшистых скалах-клыках, с зеленой косматой гривой из сосновых и еловых лап, с бородой, сплетенной из выюнов и папоротников... Сквозь запотевшее стекло я видел, как он с воинственным рыком соскакивал в глубокую голубую заводь, таился там, переводя дух, а потом бросался дальше, на перекааты, терзая берега и дно в сердитом нетерпении. И я припомнил, что это первый из притоков, спадающих с этих склонов в великую Ваконда-Аугу – самую короткую из великих рек (или самую великую из коротких – как вам больше нравится) в мире.

(Джо Бен, вняв клаксону Ивенрайта, отвязал лодку, подобрал и переправил гостя. В доме они застали Хэнка за чтением воскресного выпуска анекдотов. Ивенрайт сунул ему под нос отчет и спросил: «Чуешь, чем пахнет, Стэмпер?» Хэнк нарочито пошмыгал носом, огляделся: «Пахнет так, будто кто-то тут крепко обделался, Флойд...»)

И, созерцая эти полумифические домики и межевые знаки, проплывающие мимо, я не мог отделаться от ощущения, что дорога, по которой я еду, пролегает не через горы, но через годы, ведет в прошлое, откуда, собственно, и выплыла та открытка. Это навязчивое чувство заставило меня глянуть на запястье – так я обнаружил, что в последние дни, с попустительства моей бездеятельности, даже самозаводящиеся часы умудрились облениться.

– Э, простите! – Я снова повернулся к этому мешку с запахами и снами. – Вы время не подскажете?

– *Время?* – Его щетина прорезалась улыбкой. – У нас тут, парень, *часов* не наблюдают. Ты из другого штата, что ли?

Я сознался, а он, сунув руки в карманы, захихикал, будто от щекотки, производимой его собственными пальцами.

– *Время?* Ага, время? Тут со временем такая неразбериха, что уж никто его не понимает наверняка. Вот возьми меня. – И он подался вперед, будто предлагая мне этот сомнительный приз оптом. – Возьми меня. Я вкалываю на лесоповале. Вкалываю то сверхурочно, то с выходными не по графику. То скользящий, то вахтовый. День здесь, ночь там. Так ты думаешь, на этом путаница и *кончается*? Да нет, они ж ведь разные *времена* ввели – и теперь я день нормально работаю, а день – по-летнему. А порой и так бывает: прихожу, значит, чтоб досветла оттрубить, – а выгоняют по нормативу. А ты говоришь: «*время*». Но это – ты говоришь! У нас тут есть быстрое время, медленное время, дневное время, ночное время, местное время, хорошие времена, плохие времена... Да уж, если б мы, орегонцы, торговали временем – ассортимент был бы что в твоём супермаркете! Такая мешанина, прости господи!

Он засмеялся и затряс головой, будто ничто его так не забавляло, как эта путаница. Проблемы начались, объяснял он, когда в округе Портленд ввели летнее и зимнее время, а в остальном штате режим остался прежним. «Это все из-за этих навозных *фермеров* в остатном штате

новое время не прижилось. Вот какого хрена коровы под указы о времени не прогибаются, как человек, а? Кем они себя возомнили, скоты?» За время пути я узнал, что советники торговых палат в других крупных городах – Салем, Юджин – решили последовать примеру Портленда, так как это было на руку их бизнесу, но чертовы навозники-аграрии не прониклись такой мудрой заботой о своем труде и работают по старинке. Поэтому некоторые города не утвердили новое время официально, но приняли так называемое «быстрое время», и только в рабочие дни. А другие применяют летнее время только для торговых заведений. «Так или иначе, вот оно и вышло, что во всем долбаном штате толком никто не знает, который час. Вот веселуха-то, правда?» Я засмеялся вместе с ним, а потом снова прильнул к окну, радуясь, что весь этот долбаный штат не компетентнее меня в вопросах времени; здорово, как и мой братец Хэнк, выводящий свое имя заглавными.

(А в доме Хэнк, ознакомившись с докладом, интересуется у Ивенрайта: «Ну и на хрен затевать такую большую стачку ради такой грошовой выгоды во времени? И что вы, ребята, будете делать с этой парой лишних часиков отдыха, если их получите?» – «А уж это не твоя забота. В наши дни и в нашу эпоху человеку нужно больше досуга». – «Может, и так, но провалиться мне, если я хоть цент подкину этому человеку за его досуг!»)

Внизу, в друидских лесных дебрях, я вижу, как ручей Дикаря сливается с Топорным, набирает вес, меняя свой поджарый и голодный облик на внешность более упитанного и респектабельного фанатизма. А дальше будет Чича-Мунга, индейская кровь, чья тропа войны пролегает меж суровых берегов в боевой раскраске ежевики и татарника. Дальше – Собачий ручей, ручей Олсона, Травяной. За ледниковым ущельем виден Рысий порог – с хищным шипеньем он выскакивает из своего логова под огненно-красными кленами, полосует воздух серебряными когтями и с воем обрушивается на схватку вод внизу. А милая речушка Ида застенчиво журчит под крытым мостом; когда же решается обнаружить свое невинное присутствие – тотчас становится жертвой семейного насилия со стороны своей вульгарной и разбитной сестрицы, Попрыгуньи Нелли. И набрасываются, наваливаются, наливаются толпы родственничков всех национальностей: ручей Белого Человека, Голландский ручей, Китайский ручей, Мертвецкий ручей и даже Забытый ручей, своим страстным ревом заявляющий, что из сотен орегонских ручьев, носящих то же имя, лишь он один – истинно забытый и в своем праве... Далее – Плясун... Тайный ручей... Вожак... Я наблюдал, как они один за другим выныривали из-под мостов, по которым мы проезжали, и вливались в каньон вдоль дороги, будто члены одного великого клана, что двинули походом на врага, обрастают пополнением и обозом, преисполняются ратным духом, – и боевой марш звучит все громче и сочней.

(В разгар спора появился Генри, производя столько шума, что ни Хэнк, ни Ивенрайт ни черта не слышат. Джо Бен отвел старика в сторонку: «Генри, от тебя тут лучше не станет. Может, обождешь в кладовке...» – «Блядская кладовка!» – «Не блядская, а наблюдательная: там ты мог бы их слушать, а они бы тебя не материли, понимаешь?»)

Ручей Стэмпера – последний из маленьких притоков вступает в водное воинство. Семейная история гласит, что на этих берегах сгинул дядя Бен, когда, озверев от пьянства и депрессии, решил покончить жизнь роковым рукоблудием. Этот ручей, проскользнув под дорогой, примыкает ко всем прочим в каньоне, и все эти воды образуют армию под названием Южная Вилка, ведущую самостоятельное наступление с горного плацдарма слева от меня. А дальше, с затаенным дыханием и учатившимся пульсом, я вижу, как то, что считанными милями выше было разрозненной и дикой оравой ручейков и речушек, сшибающихся со звоном и с топазными брызгами, обращается в широкую, монолитную, степенно-голубоватую Ваконда-Аугу, и жидкой сталью она льется по зеленой долине.

Таким картинам приличествует музыкальное сопровождение.

(Старик Генри подслушивает разговор Хэнка с Ивенрайтом, приложив ухо к щели в двери кладовки. Голоса звучат сердито – уж это он точно уловил. Он силится уловить большие,

но собственное дыхание и тормом ревет в стенах крохотной каморки – ни черта больше не слышать. Однако ж дышалка-то справная – с этим не поспоришь. Он ухмыльнулся сам себе во мраке, вбирая носом яблочный дух из ящиков, клороксовый запах крысиного помета, а также аромат бананового масла, хранившего от ржавчины старый дробовик, что был в его руках... Да, и нюх как у собаки! У старого пса нос завсегда востер и по ветру. Он осклабился, рассеянно поглаживая невидимый во тьме дробовик и жалея, что не слышит слов достаточно ясно, чтоб определиться, как действовать.)

Когда автобус скатился к подножию гор и я впервые увидел дом по ту сторону холодной голубой реки, меня постиг своего рода приятный шок: старый дом был вдесятеро грандиозней, чем я его помнил. Не знаю даже, как я мог запомнить такое величие. Наверное, они его перестроили от и до, подумал я. Но когда автобус подъехал ближе, я был вынужден признать, что не видно и следа каких-либо серьезных изменений и переделок. Скорее даже, дом постарел. Но да – это он. Кто-то счистил со всех стен облупившуюся кожуру дешевой белой краски. Подоконники, ставни и все прочие декоративные излишества сохранили свои темно-зеленые, почти что аквамариновые покровы, но весь остальной дом был начисто ошкурен; шизоидное крылечко с грубо отесанными столбами, крыша, стены, огромная входная дверь – все это было обнажено, предоставлено соленому ветру и проливным дождям, отполировавшим дерево до насыщенного серо-оловянного блеска.

Кусты вдоль берега были подстрижены, однако это насилие над ними не было следствием абстрактной мании порядка, столь присущей устроителям пригородных участков, но подчинялось практическим целям: дать свет, или вид на реку получше, или проход к пристани. Цветы, рассредоточившиеся случайным манером у крыльца и вдоль берега, очевидно, требовали большого ухода, но, опять же, в них не было ничего ненатурального и вымученного: то были не те цветы, что выведены в Голландии и вращены в Калифорнии, а в здешних условиях умеют лишь нежиться в теплицах; нет, обычная местная флора – рододендроны да шиповники, триллиум да папоротники и даже проклятая «гималайская ягода», с которой обитатели побережья бьются круглый год.

Я был поражен, ибо как ни трудно было представить, чтоб старик Генри, или братец Хэнк, или даже Джо Бен мог нечаянно достичь той ненавязчивой, скромной красоты, что я видел через реку, но во сто крат нелепее казалась мысль, что кто-то из них устроил ее нарочно.

(Все было проще, покуда мой слух не стал сачковать. Все легко можно было прикинуть. Когда на пути камень – его или перепрыгиваешь, или обходишь. А сейчас даже не знаю. Двадцать или тридцать годков тому назад я б постарался убедиться, что в этом стволе есть патрон – а не что его там нету. А сейчас даже не знаю. Но, как говорится, «пусть оглох – да не лох!».)

На последний доллар я купил у водителя привилегию быть высаженным прямо перед гаражом, чтоб не тащиться еще восемь миль до города, а потом возвращаться на своих двоих. Когда же я, стоя в пыли, заикнулся о багаже, водитель растолковал, что за этот жалкий бакс он согласился только остановиться и выпустить меня, но не подписывался совершать преступление против графика, отвлекаясь на багажное отделение. «Сынок, ты как бы не лимузин заказывал!» И оставил меня в своем выхлопе протестовать налегке.

И вот наш герой стоит, не имея при себе ничего, кроме вихря в вихрях, одежды на теле и угарного духа в ноздрах. Милый контраст, усмехнулся я, шагая по дороге, с перегруженной лодкой, на которой я отплыл двенадцать лет назад. Надеюсь, мой телец оброс жирком.

Посередь гравийной площадки сиял на солнце новенький салатový «понтиак-бонвилль». Миновав его, я зашел в трехстенный ангар, служивший прибежищем от ливней, автостоянкой, доком и гаражом. Солидол и пыль принарядили пол и стены в вычурный, исчерна-фиолетовый бархат. Чумазые шершни жужжат в пыльных снопах солнца, пробивающихся в щели крыши; у одной стены – желтый пикап, заваленный запчастями и имеющий вид мусорного

ящика. Отвлекаясь от печального зрелища его разбитых фар, я обнаружил, что Хэнк обзавелся мотоциклом побольше и пошикарнее того, что был в молодости. Он прикован цепью к задней стене, накрыт попоной черной рогожи и выхолен до блеска, будто генеральский жеребец перед парадом. Я огляделся в поисках телефона; я был уверен, что они *должны были* установить какое-нибудь устройство связи, чтоб хотя бы затребовать лодку, – но ничего не обнаружил. А впериw взгляд через заросшее паутиной окошко в дом на том берегу, я узрел такое, что заставило похоронить всякую надежду на современные удобства: там была вывешена на шесте линиялая тряпка с цифрами, своеобразный товарный заказ для Стоуксов, чей развозной грузовичок навевывался раз в два дня. Все та же самая бесхитростная коммуникационная технология, применявшаяся годами, сколько я себя помнил.

(Но, черт возьми, старому псу не на всякое дело нужны хорошие уши. Ему не надо хороших ушей, чтоб сказать: хватит, блядь, уже. Что за ерунда, все только и талдычат: ты, дескать, старик, поторчи в сторонке, не вмешивайся. Надоело! Достало!)

Я вышел из ангара и задался вопросом: как мой интеллигентный тенор, настроенный на вежливые и цивилизованные дискуссии в университетских классах, преодолет эту неохватную водную ширь? Тут я увидел какое-то шевеление у входной двери. *(Черт, может, уши мои уже не так хороши, но я и без того чую, когда что наперекосяк и как это дело подправить.)* Я увидел, как какой-то крепыш в коричневом костюме промчался по саду, ловко перебирая ножками-сардельками и на бегу выкрикивая что-то в адрес дома за спиной. Одной рукой он придерживал шляпу на голове, а в другой был кейс-дипломат. Взбодораженный этими воплями, из подпола высыпал добрый батальон собак, и крепыш вынужден был сделать паузу в своей тираде, отбиваясь от стаи кейсом, который вдруг разверзся красочной, желтой бумажной метелью. Крепыш вновь обратился в бегство, преследуемый по пятам брехающими собаками и порхающими бумагами. *(Богом клянусь, есть вещи, которых я не потерплю!)* Входная дверь снова грохнула, и миру явилась еще одна фигура *(да, есть, есть, есть!)* с уродливым черным дробовиком наперевес; она произвела фурор, с легкостью посраивший весь прежний хай и лай. Загнанный бычок в костюме потерял свой кейс, обернулся, чтобы подобрать, но, заведев приближение новой угрозы, стремглав бросился к причалу, прыгнул в ярко-алую моторку и принялся остервенело дергать веревку стартера. На миг он обернулся, бросил затравленный взгляд на монстра, продирающегося через свору с мстительной целеустремленностью и грацией, – и удвоил свои самоотверженные усилия *(Назад! Генри Стэмпер, да ты из ума выжил! В этой стране есть законы [есть ЕСТЬ есть], о боже! У него ружье. Заводись! Заводись!).* А тот, другой, все надвигался *(Черт, гребаное ружьишко что-то заклинило! [Заводись! Заводись!])* Но сейчас ужo поглядим, кому тут засадить в задницу то дерьмо, которое я ни в жисть не стану есть *есть есть есть*), все громче и громче. *(Заводись! О боже, он уже рядом [ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ] господи, ЗАВОДИСЬ ЖЕ!)*

Генри на том берегу выронил дробовик. Ан нет: подобрал! И снова спускается к причалу! Его шевелюра развеивается по ветру величавой белой гривой. Рука, выставленная вперед, будто увлекает его в бой. Он был впечатляющ в своей клетчатой ковбойской рубашке, в шерстяных полукальсонах до колен и гипсовой броне, которая, казалось, цельным коробом прикрывала один бок, от носка ноги до плеча, а рука покоится на перевязи, будто закаменела. Наверное, подумал я, старый шут достиг древности столь почтенной, что решил увековечить свой несравненный маразм для потомков, по частям забирая самого себя в алебастровый саркофаг *(и если кто хоть на минуту возомнит, что я я я...)*.

Шатаясь и прихрамывая, он неумолимо наступал, отмахиваясь от мятущихся собак дробовиком, соединившим в себе достоинства ружья, костыля и дубинки. Он добрел до причала, и я услышал громоподобную поступь его гипсовой ноги – с секундной задержкой после того, как эта нога прикладывалась к доске, поэтому чудилось, будто звук издает сама нога, вздымаясь, а настил ни при чем. Он ковылял по причалу, подобный комической версии кадавра Фран-

кенштейна, грохоча гипсом, потрясая ружьем и ругаясь так громко и захлебно, что отдельные слова приносились в жертву валовому шумовому эффекту (*потому что я никогда не думал, что доживу до такого ПРОКЛЯТОГО дня, когда не смогу УЛАДИТЬ мои собственные СУКИНСЫН дела, и если какой-то УБЛЮДОК считает*).

Крепыш в лодке своим яростным массажем как раз реанимировал мотор и отбросил швартов, когда из дома выбежали еще три персонажа этой драмы: двое мужчин и, я так понял, женщина – в джинсах, оранжевом фартуке и с длинной косой, бьющей по вездесущему в этих краях свитеру. Опередив мужчин, она вприпрыжку помчалась по причалу, надеясь усмирить бешенство старого Генри; мужчины же притормозили, выжидая, пока это бешенство не выкипит само до последней капли, и потешались до упаду. Генри проигнорировал как увещевания, так и смех и продолжал поносить на чем свет стоит мужчину в лодке, который, видимо, решил, что ружье не заряжено или вовсе сломано, поскольку, отплыв на двадцать безопасных ярдов от причала, поставил лодку против течения, а мотор – на холостые обороты, только чтоб не сносило, и счел диспозицию подходящей для реванша по части ругани. От этого гама по всей реке, сколько хватал глаз, взлетали и суматошно хлопали крыльями встревоженные чайки.

(Боже ж ты мой, и что я тут делаю с этим чертовым ружьем? Боже ж ты мой, никак не могу расслышать. Нет, правда неважно слышу...)

Похоже, Генри притомился. Один из мужчин, что был повыше, – как я понял, Хэнк, ибо кто еще из всех европеоидов перемещается с такой неподражаемой вальяжной ленцой? – покинул прочих, скрылся в сарае и появился вновь, в странно согбенной позе, будто прятал нечто в сомкнутых ладонях, прижимая к груди. С секунду он постоял так на краю причала, а затем распрямился и швырнул это нечто в направлении лодки. *(Боже ж ты мой, что за черт?)* И воцарилась немая сцена во всем театре. Застыли фигуры на пристани, окаменел коричневый бычок в лодке, даже собаки прикинулись чучелами. И сцена царила вполне самодержавно секунды две с тремя четвертями, а потом у самой лодки грянул оглушительный взрыв, взметнувшийся белый водяной столб футов на сорок в закопченное дымом небо. Бу-бух! – словно Верный Старик²² воздвигся посреди реки.

Вернувшаяся с неба вода заплеснула лодку – мужчин на пристани захлестнул громовой хохот. Они шатались от смеха, упивались смехом, пока не рухнули, опьянев от смеха вдрызг. Даже ругань старого Генри захлебнулась в волнах смеха, и он уперся лбом в столб, не в силах противиться гравитации и колоссальному веселью, его сотрясавшему. Бычок в лодке заметил, что Хэнк снова направляется к сараю пополнить боеприпасы, и, совладав со своей контузией и дросселем моторки, бедняга дал полный газ, так что к следующему броску Хэнка лодка на добрых три фута выдвинулась из зоны поражения. От взрыва моторка прыгнула вперед и взмыла, будто серфер, поймавший приливную волну, что вызвало новую истерику на причале. *(Как бы то ни было, я показал ему, что не надо дуть мне в уши про мои мои... дела – даже если уши подоглохли малость!)*

Лодка ткнулась носом в причал, с которого я вел наблюдение, и мужчина ухватился за одну из крышек, что болтались в воде. Он выскочил на берег, не думая даже привязать лодку или заглушить двигатель, и мне стоило героических усилий за кормовой фал поймать моторку, готовую пуститься в вольное плавание по реке. Напрягаясь всем телом, удерживая лодку, упрямую, как загарпуненный кит, я не забыл любезно поблагодарить этого мужика за доставку транспортного средства, а также за живое участие в этом маленьком милом скетче, приуроченном к моему возвращению домой. Он остановился, чтобы собрать уцелевшие свои бумаги, и обратил на меня свое круглое красное лицо, явно впервые меня заметив.

²² Верный Старик – гейзер в Йеллоустонском национальном парке, высота фонтана – до 45 метров, извергается почти точно по часам.

– Готов спорить, ты один из этих мерзавцев-штрейкбрехеров! – Он набычился и едва не боднул меня своим скорбным лбом. Ручейки влаги струились по лицу из куц его рыжей шевелюры, норовили попасть в глаза, заставляя смаргивать и тереть веки обоими кулаками, будто разревевшееся дитя. – Я угадал? – спросил он, моргая и орудуя кулаками. – Ага? Скажешь, нет? – Но прежде чем я мог выдавить из себя остроумный ответ, бычок, шатаясь, потащился к своему новехонькому автомобилю, на ходу вздыхая и матерясь столь горестно, что я и не знал – то ли смеяться над ним, то ли пожалеть.

Я пришвартовал непоседливую лодку к кнехту и пошел в гараж за пиджаком, оставленным на капоте пикапа. Вернувшись, я увидел, что Хэнк на том берегу уже скинул рубаху и ботинки и стягивает штаны. Он и другой мужик – Джо Бен, судя по манере приплясывать, даже стоя на месте, – все еще ржали. Старик Генри карабкался по берегу к дому – с куда большим усилием, чем спускался.

Выдергивая ногу из штанины, Хэнк оперся на плечо женщины, стоявшей рядом. Должно быть, это и была та самая дикая и нежная лесная орхидея брата Хэнка, догадался я; босоногая и взращенная на чернике с пеммиканом. Избавившись от штанов, Хэнк ринулся в реку почти горизонтальной рыбкой – тем самым скоростным нырком, какой отрабатывал много лет, пока я наблюдал из щели меж оконных занавесок. С первых же его гребков я убедился, что его спортивный, сберегающий силы кроль – уже немного не тот, что прежде. Уж не осталось былой плавности скольжения – он будто проваливался через каждые два-три гребка, и, похоже, эти сбои в ритме объяснялись не недостатком практики, а чем-то иным. Если позволительно так отзываться о пловце, то, можно сказать, Хэнк чуточку охромел. И чем больше я глядел на него, тем больше убеждался в собственной правоте: расцвет его миновал, старый исполин дряхлел. Наверное, и кровная месть дастся мне куда проще, нежели я опасался.

Воодушевленный этой мыслью, я забрался в лодку, отвязал конец и, немного помучившись, сподобился развернуться носом к Хэнку. Моторка едва тащилась, почти на холостых, но я отчаялся найти ручку газа и вынужден был довольствоваться оборотами, завещанными мне обиженным бычком. К моменту встречи с Хэнком он уже проделал добрую половину пути.

При моем приближении он замер, по-осьминожьки шевеля руками в воде, чтобы разглядеть своего спасателя, ожидая, что я позволю ему забраться на борт, застопорив винт. Но оказалось, что я не способен приглушить движок точно так же, как не мог и добавить ему прыти. Я проплыл мимо Хэнка трижды, пока он не сообразил, что я не могу остановиться. И тогда на третьем моем заходе он сам уцепился рукой за борт и выдернул себя из воды сказочно легко и ловко: его длинная, жилистая рука взметнула тело в воздух с изяществом стрелы, пущенной из арбалета. Когда он перекатился по дну, я понял, почему он хромал на воде и почему затащил себя в лодку лишь одной рукой: на другой не хватало двух пальцев; в остальном же он был мужчиной в самом расцвете.

Секунду он оставался на дне лодки, отфыркиваясь, а затем взгромоздился на банку лицом ко мне. Уронил голову в ладонь – будто не то потирал переносицу, не то сплевывал воду; то была его излюбленная манера скрывать усмешку, когда ее уже заметили, либо привлекать к ней внимание. Глядя на него, увидев, с какой легкостью и безупречной удалью он десантировался в лодку, а теперь наблюдая его неколебимую самоуверенность – будто он не только знал, что это я плыву его подобрать, но вообще изначально все так и спланировал, – я почувствовал, как минутный оптимизм, охвативший меня на причале, сменяется опасениями самыми мрачными... Если исполин и одряхлел – **БЕРЕГИСЬ! БЕРЕГИСЬ!** – то он избрал не лучший способ продемонстрировать свою немощь.

Он все молчал. Я мямлил какие-то извинения за то, что не смог заглушить движок и подобрать его по-людски, уж собирался пуститься в объяснения на тему того, что в программу Йельского университета не входит курс речной навигации, как вдруг он поднял брови – но не

поднимая лица, не отнимая его от ладоней, – поднял бурые мокрые брови и зыркнул на меня глазами яркими, зелеными и ядовитыми, как кристаллы медного купороса.

– У тебя было три попытки, Малой. – Он усмехался криво, глядел искоса. – И ты три раза промазал. Может, охолонешь?

...А в это время Индианка Дженни, наглотавшись табаку с виски вдосталь, чтоб уверовать в способность своей расы влиять на события окружающей действительности, вглядывалась сквозь паутину, затянувшую одинокое окошко, и плела последние нити своего заклатья: «О облака, о дождь небесный! Велю обрушить все ненастья и невзгоды на Хэнка, что из стэмперского рода!» И, довольная, устремляет маленькие черные глазки вглубь хибары – удостовериться, что тени впечатлились должным образом.

...А Джонатан Дрэгер, в мотеле в Юджине, пишет: «Человек готов отделаться от всего, что угрожает ему одиночеством, – даже от самого себя».

...А Ли, сидя напротив брата в лодке, держащей курс на старый дом, раздумывает: «Ну вот я снова дома – но что дальше?»

По всему побережью рассыпаны городишки вроде Ваконды – и в каждом есть пристанище дровосека, вроде «Коряги», где усталые маленькие люди говорят о трудных временах и бедах. Старый драный алкаш видел их всех, слышал все их беседы. Он вечерами напролет ловит отголоски чужих речей, доносящиеся из-за спины, – разговоров, в которых ребята куда моложе его отзываются о нынешних бедах так, будто их недовольство возникло лишь недавно, будто оно – знак невиданных времен. Он подолгу вслушивается в то, как они ворчат, стучат кулаками по столу и наперебой читают выдержки из «Юджинского журнала», что посылает проклятия «этой горькой эпохе Вранья, Всевластия и Военщины». Он слышал, как они обвиняли федеральное правительство в том, что оно превратило американцев в нацию слюняев, – а потом слышал упреки тому же органу в том, что проблемным городам и регионам отказывается в дотационной поддержке самым бессердечным образом. Вообще-то, он взял себе за правило сторониться всякой подобной ереси в своих питейных вояжах в города, но, когда он услышал, как делегаты единогласно решают, что многие претензии общественности неплохо было бы предъявить Стэмперам и их упрямому нежеланию вступать в профсоюз, его терпение лопнуло. Мужчина со значком профсоюза на груди как раз объяснял, что своеобразие текущего момента требует больших жертв от чертовых частников, когда старый дранщик с шумом восстал на ноги.

– Текущего момента? – Он надвинулся на собрание, грозно потрясая над головой бутылкой портвейна. – И откуда это он, по-вашему, текущий? Что ли *раньше* были сплошь молоко и мед?

Граждане воззрились на него с сердитым недоумением: старик вроде как допустил грубейшее нарушение протокола, прервав их заседание.

– Чего там этот бурдюк триндит про военщину? Срань! – Он высится над столом, его фигура колеблется в сизом дыму. – Все эти базары за депрессию, и все такое, и всякие там забастовки, да? Все – срань собачья. Двадцать лет, тридцать лет, *сорок* лет и всю Большую войну мне тут всякие втирают, мол, проблема в том или в *сем* или моя проблема в *том-сем*. Проблема в *радио*, проблема в *республи-скунсах*, проблема в дерьмократях, проблема в коммунаках... – Он сплюнул на пол резко, будто клюнул половицы своим шнобелем. – Все это срань!

– А в чем, по-вашему, проблема? – Главный по Недвижимости откинулся в кресле и скалит на нарушителя, готовый поднять его на смех.

Но старик его опережает: сам невесело смеется, и его внезапный гнев столь же внезапно оседает жалостью. Он качает головой и с печалью взирает на горожан:

– Эх, мальчики, мальчики... – Затем ставит пустую бутылку на стол, длинным узловатым пальцем обнимает новую полную за горлышко и щурится на яркое солнце, косым лучом бьющее из окна «Коряги». – Вы что, не усекаете: всегда одна и та же убогая старая срань?

Можно перечеркнуть ночь пылающей головой – и на мгновение ночь, помеченная огненным росчерком, застынет в своей конечности. Ты можешь быть абсолютно уверен в ее перманентно предательском непостоянстве. Вот и все. Хэнк знал...

Как знал он и то, что Ваконда не всегда держалась нынешнего русла. (Ага... хотите и вы услышать кое-что о реках, друзья и соседushки?)

Все двадцать миль ее прежнего русла отмечены многочисленными излучинами, заводами, старицами и болотами. (Вы ведь страждете узнать пару-тройку фактиков из жизни рек?) Кое-какие из этих заводов очищаются водами окрестных ручьев, вместе они образуют цепочку прозрачных, глубоких, зелено-стеклянных прудов, где у дна гуляют голавли, огромные, похожие на затонувшие бревна; зимой заводи эти служат ночным пристанищем для легионов диких гусей, что летят на юг вдоль побережья; весной над водой нависают длинные и грациозные ветви плакучих ив; когда же свежий ветерок с моря треплет эти ветви, кончики листьев щеко-чут воду, и мальки лосося и форели, заинтригованные, устремляются к поверхности с таким энтузиазмом, что часто выпрыгивают, чтобы сверкнуть на солнце маленькой серебряной пулей, пущенной из глубин. (Забавно, но эту фишку, про речку, я услышал не от папаши и не от дядьев, даже не от Мозгляка Стоукса, а от старины Флойда Ивенрайта пару лет назад, когда мы в первый раз сцепились с ним на тему профсоюза.)

Кое-какие из заводов поросли копыями рогоза, затянулись ряской, к радости множащихся нырков и свиязей. Иные же вовсе превратились в топи, могилы кленовых листьев и валлиснерий, что безропотно гниют и безмолвно растворяются в маслянистой ржавой жиже. А есть и такие, что заилились окончательно и пересохли, превратившись в изумрудные олени пастбища или ягодные чащобы высотой в пару этажей. (А вышло так, что мне нужно было в город, пересечься с Флойдом Ивенрайтом, когда первый раз случилось это их Закрытое Собрание. Вместо того чтоб поехать на байке, я решил опробовать вживую новый хваленый движок «Джонсон-25», что прикупил на той недельке в Юджине. Разогнался – ну и налетел на какую-то здоровенную хрень под водой. Топляк какой-то, чертова коряга. Движок с корнем вырвало, лодка – камнем на дно, ну а мне пришлось поплавать. Злой был, как пес лохматый, и уж точно не в настроении за профсоюз терки тереть.)

Одна из чащоб расположилась близ дома Стэмперов, выше по реке, такая густая и непролазная, что не всякий медведь зайти отважится. Бывало, забредали туда лоси да олени, пытались пробиться – а нынче над их замшелыми косточками такая колючая стена вымахала, что и помыслить нечего просочиться. (На той встрече говорил в основном Флойд – но я не шибко-то слушал. Все не мог уловить, о чем он толкует. Я просто сидел и смотрел в окошко, ровно на то место, где потопли моя лодка с движком, да ерзал оттого, что мой воскресный костюм прямо на мне и сохнет, скукоживается.) Но Хэнк лет в десять нашел путь сквозь эту шипастую стену: обнаружил изрядную систему ходов, что кролики и еноты устроили у самой земли, и, облачившись в клеенчатую накидку с капюшоном, чтоб спину от колючек уберечь, сумел – где на четвереньках, где ползком – пробраться через хитросплетения терний. (Флойд все говорил и говорил; я знал, что он себе думает, будто я и еще полдюжины крутых парней прям-таки разомлеем от его логичности и на край света за ним пойдем. Что ж, за других я не ответчик, а сам – так мешка гнилых яблок за его логику не дал бы. Штаны высохли, я обогрелся. Я нацепил мотоциклетные очки, чтоб он не заметил, если закемарю, пока он вещает, сидел, откинув голову, и оплакивал свою лодочку с моторчиком.)

И как только весеннее солнышко засияло над чащей достаточно ярко, чтоб его света, профильтрованного сплетенными ветвями, хватало глазам, Хэнк стал часами ползать по норам, выведывая новые проходы. Часто он сталкивался с другим исследователем – старым самцом-енотом, который в первую встречу зашипел, заворчал и испустил струю столь пахучую, что посрамила бы любого скунса, но по мере того, как они встречались снова и снова, старый разбойник в черной маске согласился признать чужака в капюшоне вроде как за коллегу-преступника; встречаясь в темном тернистом коридоре, мальчик и енот вставали нос к носу и похвалялись друг перед другом добычей: «Как пожива, дружище-енот? Свежий клубень? А у меня, гляди-ка, настоящий череп суслика...» (Флойд все говорил, говорил и говорил, а я – в полудреме томясь мыслями о лодке, реке и вообще – начал вдруг думать о всяких давних делах, что уж из памяти начисто выветрились...) Дебри таили несметные сокровища: стальной расклинок, застрявший в кустах; почти доисторический жук, все еще противящийся тысячелетней грязи; ржавый кремневый пистолет, по-прежнему разивший ромом и романтикой... но ничто из этого не могло и близко сравниться с находкой, ознаменовавшей одно прохладное апрельское утро. (Мне подумалось о рысятах, которых я нашел в ягольнике, вот о чем; вспомнились почему-то эти рысята.)

Там, в конце нового, неизведанного коридора, лежали три котенка с серо-голубыми глазами, день-два как открывшимися, что с любопытством пялились на Хэнка из пушистого, выложенного шерстью гнездышка. Если б не куцые хвостики-помпончики да кисточки на ушках, их было б не отличить от обычных амбарных котят, каких Генри топил мешками каждое лето. Мальчик во все глаза глядел на возню зверушек в гнездышке, не веря своему счастью.

– Яйца конские! – благоговейно прошептал он, полагая, что столь дивная находка требует уважительных эпитетов, в манере дяди Аарона, а не крепких словечек из солонки папаши Генри. – Три рысенка – сами по себе... Яйца конские!

Подхватив ближайшего котенка, Хэнк попятился на карачках, продираясь сквозь кусты. Найдя подходящее место, развернулся. На обратном пути он прикинул – хотя и не отдавая себе отчета, – что если мамаша-рысь вернется к логову с другой стороны, то, скорей всего, не полезет в проход, где побывал он, не пойдет туда, где пахнет человеком. Передвигаться с шипящим и кусачим котенком в руке оказалось неудобно – и Хэнк ухватил его за шкуру зубами. Зверек тотчас успокоился и безропотно болтался во рту у мальчика, пробиравшегося через ежевику во всю прыть локтей и коленок.

– Давай-давай, *давай!*

Из чащи он вырвался весь в крови от бесчисленных царапин на руках и лице, но ни боли, ни ран не помнил. А помнил лишь глухое паническое уханье в грудной клетке. А ну как мамаша-рысь наскочит прямо на похитителя, что тащит ее детеныша в зубах? Набросится на мальчика, припиленного к земле пятнадцатью колючими футами и практически беззащитного? Ему пришлось посидеть немного и перевести дух, прежде чем он смог проделать еще десять ярдов до пустого ящика из-под динамита, куда и положил котенка.

И тогда, по какой-то неведомой причине, вместо того чтоб подхватить этот ящик и стремглав бежать домой, как советовал рассудок, он вдруг замешкался, изучая добычу. Он бережно сдвинул крышку и заглянул внутрь:

– Привет! Как ты там, рысик-пусик?

Зверек, дотоле яростно метавшийся из угла в угол, замер и обратил на звук голоса свою плаксивую мордашку. И вдруг издал писк такой трагичный, молящий, испуганный и щемящий, что мальчик содрогнулся от жалости:

– Что, одиноко тебе? Да?

Не менее пронзительный ответ вверх мальчика во внутреннее противоборство. И через пять минут увещаний – дескать, лишь конченный придурок *снова* сунется в этот лаз – Хэнк сдался перед этим писком.

Снова добравшись до гнезда, он обнаружил, что два оставшихся котенка мирно спят. Они лежали в обнимку и тихо мурлыкали. Секунду он помедлил, замерев и задержав дыхание, – и в наступившей тишине, когда шипы не скребли по клеенчатому капюшону, он услышал писк из ящика на краю чашобы. Тонкий, истошный вопль иглой пронзил чашу. Да что там – такой звук разносится на мили! Схватив следующего котенка зубами за шкуру, Хэнк проворно развернулся и снова спринтовал на локтях и коленках по уже обтертому его телом коридору – к просвету в конце тоннеля терний и кошмара, к просвету, казавшемуся на этот раз еще дальше. У него было ощущение, что путь занял часы. Само время застревало в этих дебрях. Ветки злобно скрежетали по плащу. Должно быть, пошел дождь: в тоннеле стало совсем темно, а земля сделалась скользкой. Мальчик карабкался изо всех сил, тараща глаза; рысенок во рту болтался из стороны в сторону, писком взывая о помощи; и ему вторил собрат из ящика, подкрепляя этот зов. Чем больше темнело, тем длиннее становился тоннель – Хэнк был в этом уверен. Или наоборот. Он задыхался мехом и страхом. Он сражался с раскисшей грязью и ветвями с отчаянием утопающего в трясине. Когда же достиг заветного конца злосчастной трубы – сделал вдох, достойный ныряльщика, дорвавшегося до вожаемого кислорода после многих минут под водой.

Он устроил второго котенка в ящике рядышком с первым. Оба разом прекратили верещать и прильнули друг к другу. Замурлыкали в такт дождю, шуршащему в соснах. И единственным иным звуком, раздававшимся на весь лес, был теперь надрывный плач третьего котенка, одинокого, напуганного и мокрого, в гнезде на другом конце тоннеля.

– Все будет хорошо! – Хэнк бросил утешенье в глубину чаши: – Не бойсь! Просто дождик. Сейчас вот мамка с охоты вернется. Потому как дождик.

И, проникнувшись этим сознанием, он подобрал ящик и пошел к дому.

Но что-то было не так. Вроде и угрозы нет – он взял мелкашку из дупла, куда непременно клал ее перед вылазками в чашу, – но сердце по-прежнему стучало, а живот по-прежнему сжимался от страха, а образ разъяренной мамыши-рыси по-прежнему прожигал дыры в мозгу.

Он остановился и замер, зажмутив глаза.

– Нет. Нет, блин! – отрывисто потряс головой. – Нет, не *такой* я дурак! Плевать!

Но страх продолжал сотрясать его ребра, и вдруг он понял, что эта дрожь была его непрерывно с того самого момента, как он наткнулся на гнездо с играющими котятками. Ибо оно знало – оно, страх, *испуг-ужас-кошмар*, как ни назови, – знало мальчика лучше, чем он сам, знало с первого взгляда, что не будет Хэнку покоя, покуда он не заполучит всех троих котят. Да будь они хоть драконятами – он бы прошел сквозь пламя, исторгаемое их мамашей.

И, лишь притаив в зубах третьего котенка, он смог вздохнуть полной грудью, расслабиться и наконец отправиться домой, триумфально водрузив на плечо ящик из-под взрывчатки, словно трофей, взятый в великой битве. Повстречав старого енота, потешно буксующего лапами на осклизлой глинистой тропинке, Хэнк поприветствовал невозмутимого зверя и предостерег:

– Держался бы ты нынче подальше от чаши, крошка-дедушка енот. Крутовато там для такого старика.

Генри работал на лесоповале. А дома были дядя Бен и Бен-младший – парень, которого все, кроме родного отца, звали Малыш Джо, помладше и пониже Хэнка, но в чертах его лица уже проступала божественная до дьявольского красота, унаследованная от папаши. Они ютились у Генри, выжидая, когда очередная сожительница дяди Бена сменит гнев на милость и пустит их обратно в свой городской дом. При виде котят и исцарапанного, кровоточащего Хэнка оба пришли к единому выводу.

– Ты взаправду, что ли? – спросил мальчик. – Ты, Хэнк, взаправду дрался из-за них с рысью?

– Не совсем так, – скромно ответил Хэнк.

Бен посмотрел на исцарапанное, перепачканное грязью лицо племянника, заглянул в его ликующие глаза:

– Да нет, все так. Ты дрался, парень. Может, не в лоб, может, и не с рысью. Но с кем-то точно дрался. – И, к удивлению как Хэнк, так и собственного сына, весь оставшийся день употребил на то, чтобы помочь ребятам соорудить клетку у берега реки. – Я не большой любитель клеток, – сказал он им. – Да и не мастер на эти дела. Но когда эти котятки подрастут – свар со сворой не миновать. Надо их как-то разобособить. Поэтому мы сделаем им первоклассную клетку, уютную клетку, лучшую в мире клетку.

И этот маленький пригожий белоручка и белая ворона в семейной стае, всегда гордившийся тем, что в жизни не брал в руки ничего тяжелее дамской ручки для поцелуя, горбатился до заката, пособляя мальчикам устроить истинный шедевр среди клеток. Ее сделали из кузова старого пикапа, бывшей машины Аарона, разбитой без надежды на восстановление. Когда конура была готова, ее покрасили, законопатили, укрепили и вознесли над землею на четырех подпорках. Половина клетки, включая пол, была выполнена из проволочной сетки ради простоты уборки, а дверь сделали достаточно большой, чтоб Хэнк и Джо могли без труда навещать постоянных жильцов. Внутри поставили коробки-укрытия, наложили соломы, воткнули шест, обмотанный мешковиной, чтоб можно было забираться на самый верх, где подвесили ивовую корзину, высланную старыми шерстяными рейтузами. Установили здоровую корягу, чтоб было где лазать. К сетчатому потолку подвесили на веревках резиновые мячики. Расставили и миски со свежим речным песком – на случай, если дикие кошки разделяют гигиенические привычки домашних. Это была прекрасная клетка, крепкая клетка. А что ж до комфорта, этот «хренов кошководом» – как отзывался о нем Генри всякий раз, когда запах сигнализировал о необходимости уборки, – был настолько комфортабелен, насколько вообще может быть клетка.

– *Лучшая* клетка из всех. – Бен отступил назад, чтобы полюбоваться работой, с печальной улыбкой на устах. – И чего еще желать?

Хэнк провел изрядную часть того лета в клетке, в обществе троих котят, и к осени они так привыкли к его утренним визитам, что, если он вдруг задерживался дольше пяти минут, поднимали вой, и папаша Генри мигом освобождал сына от всякой домашней работы и пинками гнал «унять этих охреневших кошаков в их блядском кошководоме!». К Хеллоуину кошки стали такими ручными, что можно было играть с ними и в доме. А в День благодарения Хэнк пообещал одноклассникам, что притащит всех троих котят в школу перед самыми рождественскими каникулами.

В ночь перед этим днем вода в реке поднялась на четыре фута, обидевшись на трехдневный дождь. Хэнк опасался, что лодки сорвет с привязи, как уже было в прошлом году, и он не сможет переправиться на тот берег к школьному автобусу. Или, что еще хуже, река доберется до клетки. Перед сном он натянул резиновые сапоги, нацепил накидку поверх пижамы и с фонарем в руках вышел проверить. Дождь поредел до холодной мерзкой мороси, вытряхиваемой из низкого неба порывами ветра. Самая буря миновала. В мутной дымке над горами виднелась луна, продиравшаяся сквозь тучи. В сливочно-желтом свете фонарика Хэнк различал лодку и моторку, накрытые зеленым брезентом, скачущие на темной воде. Они рвались на свободу, струной натягивая канаты, – но те держали надежно. На устье обрушился прилив, и река текла теперь вглубь материка, а не к морю. Обычно ее воды, проделав четырехчасовой путь к океану, вставали там на час, потом разворачивались и часа два-три катились обратно. В этот откатный период, когда соленая морская вода теснила мутную дождевую, сбегавшую с гор, река вздымалась до максимума. Хэнк замерил уровень по ординару на причале – черная вода бурлила у метки пять, то бишь на пять футов выше обычного прилива, – затем дошел до края причала и по хлипким дощатым мосткам пробрался к тому месту, где его отец, уцепившись локтем за трос, будто бы приклеенный к фундаменту маслянистым светом фонарика, вбивал

гвозди в массивный короб, который присовокуплял к нагромождению дерева, кабелей и труб. Генри сжимал молоток и шурился на дождевую взвесь, что ветер швырял в лицо.

– Это ты, парень? И чего приперся в этот час ночной и срачный? – свирепо спросил он, а затем, будто бы по размышлении, предположил: – Что, пришел подсобить старику в ненастье, а?

Еще час дрогнуть на ветру и бессмысленно колотить молотком по этой дурацкой папашиной инсталляции – последнее, что было на уме у Хэнка, однако он сказал:

– Не знаю. Может, да, а может, и нет. – Он раскачивался, перегнувшись через трос и наблюдая деловитую фигуру Генри. В этот миг зажегся свет в окошке матери на втором этаже – и на фоне черных туч проступили очертания кошачьей клетки. – Не знаю, па, даже не знаю... Как думаешь, на сколько она еще поднимется за ночь?

Генри подался вперед, чтоб сплюнуть в реку давно зажеванный табак.

– Прилив продержится еще с час. Значит, такими темпами, как сейчас водичка прибывает, поднимется она еще фута на два. На крайняк – три. А потом на убыль пойдет. Тем более что и дождь шлепать перестал.

– Точно, – согласился Хэнк. – Мне тоже так сдается. – Поглядев на клетку, он прикинул, что реке придется восстать на добрых пятнадцать футов, чтоб хотя бы до свай добраться, но к тому моменту уже и дом, и сарай, и, наверное, весь город Ваконда окажутся смыты с лица земли. – Так что пойду-ка я дальше подушку мять. А с рекой ты и сам совладаешь, – бросил Хэнк через плечо.

Генри смотрел сыну вслед. Луна наконец пробилась, и шагающий по мосткам мальчик в своей бесформенной накидке, сияющей серебристо-контрастно в черной кайме ночи, казался отцу таким же таинственным, как и облака на небе, столь похожие на сына сейчас.

– Мелкий засранец! – Генри выудил из кармана штанов новую плитку табаку, отправил ее в рот и вновь взялся за молоток.

К тому времени, как Хэнк улегся в постель, дождь прекратился совершенно и в прорехах облаков показались звезды. Яркая луна – к хорошей рыбалке на мелководье, а также к холодной, сухой погоде. Перед самым сном он прислушался к затишью на реке, удостоверился, что она уюмонилась и теперь двинет обратно к морю.

Проснувшись поутру, он выглянул в окошко и увидел, что лодки в сохранности и река – не выше обычного. Наспех позавтракав, подхватил заготовленную коробку и поспешил к клетке. Сначала забежал в сарай за мешковиной, чтоб выложить дно коробки. Утро было прохладным. Легкий морозец звенел в самом воздухе, и коровье дыхание клубилось парным молоком. Хэнк, распугав мышей, выдернул пару мешков из стопки в кладовой и выбежал через заднюю дверь. Свежесть распирала легкие, пьянила. Он обогнул угол – и остолбенел: *берег!* (И когда я уж совсем заклевал носом, грезя о котятках, Флойд и старик Сайверсон, хозяин маленькой лесопилки в Миртвилле, вдруг не на шутку схлестнулись из-за чего-то; они так вопили и махали граблями, что прямо-таки выдернули меня из сна.) ...*Весь участок берега, где стояла клетка, сгинул. А вместо него – новый берег, чистый, аж сияющий своей кромкой, будто ночью кто-то вырезал из земли лопотом гигантской бритвой, заточенной об луну.* («Сайверсон, – орет Ивенрайт, – да не будь ты дундуком! Я дело говорю!» А Сайверсон ему в ответ: «Брехня. Какое там дело!» – «Дело! Я говорю дело!» – «Брехня. Ты к тому гнешь, чтоб мне сейчас подмахнуть эту бумаженцию – да и убираться из бизнеса. Вот что ты мне тут вешаешь!») *А под этой заново откромсанной кручей, среди дерна и вывороченных древесных корней, из тугой речной воды торчит угол клетки. И в этом углу, за сеткой, плавает то, что было внутри, – резиновые мячики, потрепанный плюшевый мишка, ивовая корзинка, мокрая солома и три съездившихся котятых тельца.* («Сколько она себе хочет? – орет Сайверсон. – Сколько ей надо, этой твоей профсоюзине, про которую ты нам тут талдычишь?» – «Блин, Сайв! Она только просит, чтоб все по-честному...» – «По-честному? Да наварить она на нас

хочет, поживиться – вот что!») Они кажутся такими маленькими, когда мех слипся от воды, такими крохотными, мокрыми и уродливыми. («Хорошо, хорошо! – ревет Флойд, повышая тон. – Но ей нужна всего-то честная пожива!»)

Плакать ему не хочется – он не позволял себе слез уже многие годы. И чтобы унять это забытое, саднящее чувство, что вздымается по гортани к носу, он велит себе представить с абсолютной точностью, как все могло быть. Клетка раскачивается, опрокидывается, бухается в воду вместе с куском земли, троих котят вытряхивает из теплой постельки, захлестывает ледяной, беспощадной смертью, они в ловушке, они не могут выбраться на поверхность. Он зримо, с мучительной дотошностью воображает каждую деталь, прокручивает в голове всю сцену снова и снова, пока она не тонет, не гложет в сознании, пока оклик из дома не кладет конец его пытке... (Все тогда смеялись над оговоркой Флойда – даже сам старина Флойд. И потом многие подкалывали его: «На нас, значит, честно поживиться хотят?» А я тогда и внимания особого не обратил, весь в думах про своих утопших котят да утопший новехонький «джонсон». Я вроде как и услышал-то кое-чего другое.) Покуда боль, и вина, и тяжесть утраты не вытесняются чем-то иным, чем-то большим...

Побросав мешки и коробку, я вернулся в дом, чтобы получить бутерброды навынос и костлявый ободрительный клевок в щечку от мамы, каким она напутствовала меня в школу каждое утро. Вышел на причал, где папаша Генри готовил моторку, чтоб переправить нас с Джо Беном к ожидавшему на той стороне автобусу. Я держался спокойно, надеясь, что никто не заметит отсутствия коробки с рысьями. (...сменилось навсегда чем-то куда посильнее вины или утраты.) А они и не замечали, потому что движок не заводился – так было холодно, – и Генри, через десять минут дерганья, пинания, рвания и метания, содрал кожу с костяшек и стал не в состоянии подмечать что-либо вообще. Все мы пересели из «гребаной моторки» в гребную лодку, и я уж думал, что пронесло, но глазастый Джо Бен вдруг вскрикнул и ткнул пальцем в берег: «Клетка! Хэнк, клетка с кошками!»

Я промолчал. Старик опустил весла, поглядел сам, затем повернулся ко мне. Я наклонился, будто был всецело поглощен затягиванием шнурка или что-то вроде того. Но довольно быстро я понял, что они от меня не отвяжутся, пока я хоть чего-то не скажу. Поэтому я пожал плечами и заявил спокойно и буднично:

– Фигня вышла – что тут скажешь? Дерьмовое дело – вот и все.

– Точно, – сказал старик. – Это как когда футбольный мяч лопнет...

– Точно, – подтвердил Джо Бен.

– Бывают в жизни огорченья, – заметил я.

– Куда ж без этого? – согласились они.

– Но... я скажу вам, я вам скажу, что... – Я чувствовал, как улетучивается этот холодный, «как будто так и надо» тон, и не мог его удержать. – Если я еще когда-нибудь... когда-нибудь, пофигу, когда... поймаю еще таких рысят... о господи, Генри, эта сраная река... я... я... обещаю... клянусь...

И, не в силах продолжать, я принялся молотить по лодке кулаками, пока старик не остановил меня, до боли стиснув запястья.

Потом все дело замялось, утряслось и забылось. Никто из домашних об этом не вспоминал. В школе пацаны какое-то время еще спрашивали – и где, мол, те *киски*, про которых я так распинался, и почему *рысятки* в школу не несусь?.. Но я просто «нахренит» их словесно, а непонятливых – «накернит» телесно, и все вопросы отпали. Я тоже забыл эту историю. Во всяком случае, из той памяти, которая кричит о себе в голос, – высквозило. Но прошли годы – и я сам себе дивился: с чего вдруг накатывают на меня порой такие странные и неодолимые порывы слинять пораньше с тренировки, а то и со свиданки. Меня это в самом деле озадачивало. Людям – тренеру Льюлину, или поддатым корешкам, или очередной пассии-лобызасии – я обычно объяснял, что если замешкаюсь, то река поднимется и через нее уже не перепра-

вишься. «Обещают повышение уровня, – говорил я. – Ну как она взбухнет – все лодки посры-
вает, и буду я как дурак торчать перед этой Матерью Вод без своего верного каноэ!» Дружкам
и тренерам я говорил, что надо спешить домой, иначе «Ваконда вздыбится стеной между мной
и тарелкой с ужином». А подружкам, уж готовым растаять, я говорил: «Прости, детка, вынуж-
ден тебя покинуть, а то лодка может сгинуть в пучине безвозвратно». Но себе, самому себе я
говорил так: «Стэмпер, у тебя с ней счеты, с этой рекой. Это факт. Девчонкам из Рид-порта
можно вешать на уши какую угодно лапшу, но если поставить вопрос ребром, то вся эта лапша
– полная лажа, а дело в том, что у тебя просто свои счеты с этой гадюкой-рекой».

Вроде как мы с рекой заключили маленькое пари, состязание в ненависти друг к другу,
и я даже не понимал с чего бы. «Сдается мне, сладенькая, – говорил я какой-нибудь куколке, с
которой мы субботним вечером парковались где-нибудь в укромном местечке, чтоб повоевать
с ее застежками и задышать все стекла батиного пикапа, – сдается мне, если я прямо *сейчас* не
уйду, то зябнуть мне всю ночь на переправе. *Глянь*: льет, что с-под твоей коровы!»

Да, ей-то можно скормить что угодно, но для себя знал: ты просто *должен* – и причины
я тогда не разумел, – *должен* добраться до дома, напаялить макинтош, спасжилет, взять моло-
ток, гвозди и крепить подпорки как полный идиот. Даже если пришлось отказаться от *верного*
перепихона – лишь затем, чтоб полчаса померзнуть на этой долбаной дамбе!

Я так и не понимал причины до того самого дня, до профсоюзного собрания в Ваконде,
где я сидел и вспоминал, как потерял рысят, глядел из окна на то место, где затонула моя
лодка, и вполуха слушал, как Флойд Ивенрайт говорит старику Сайверсону: «Ей нужна всего-
то *честная* пожива!»

Итак, друзья-соседушки, насколько я вообще могу растолковать эту штуку – вот почему
речка эта мне не подружка ни разу. Может, казаркам да лососкам она любя-дорога. Очень
даже возможно, что и старуха Прингл со своим Клубом первопроходцев Ваконды души в этой
речке не чают. У них-то издавна повелось собираться в порту каждое Четвертое июля и отме-
чать то, как сто лет назад какой-то бомж в мокалинах впервые прогреб по этой реке на своей
долбленке. Первопроходческий Тракт – так ее звали...

Черт, как знать, может, тогда она и *была* главной артерией и все такое, как нынче железка,
по которой мы лес возим, но, так или иначе, *мне лично* она подругой никогда не будет! Не
только из-за этой истории с рысятами – я могу рассказать вам сотню историй и привести сотню
причин того, *почему* я с этой рекой дерусь. О, причины *отличные*, потому что времени поду-
мать у меня – до хрена и больше. А что еще делать, как не думать, когда целыми днями шля-
ешься по лесозаготовкам, – спидометр на ногах знай себе крутится, а голове и заняться нечем,
кроме как думать. Или, скажем, когда сидишь в засаде на охоте, в манок посвистываешь, а
дичь нейдет. Или корову доишь, когда Вив животом мается. Времени – *масса*, и я массу вещей
уяснил этак про себя: знаю, к примеру, что эта река вообще может быть *всем*, чем угодно. Но
так думать – это как бы мяч упускать, если видеть в ней больше, чем есть, это как бы ее недо-
оценивать. Просто увидеть ее, как есть, – уже великое дело. Прочувствовать, какая она к тебе
холодная, неласковая, увидеть ее половодье, почуять запах, когда эта сука катится обратно от
города Ваконды и тащит с собой весь хлам и дерьмо, и дохлые рыбы отравляют ветер своей
вонью, – уже великое дело. И чтоб получше ее разглядеть – смотреть нужно не «за», не «под»,
не «вокруг», а четко на нее, в упор и прямо.

И помнить: ей нужна всего-то честная пожива.

Поэтому, не растекаясь по древу, а зря в корень, я просек суть: река зарится на вещи,
которые я считал по праву своими. Кое-что уже отхапала – и без устали трудится, чтоб загра-
бастать больше. А поскольку меня тут хорошо знают за одного из Десятки Крутейших Парней
по эту сторону Гряды, я намерен приложить все силы, чтоб этой сволочи *помешать*.

И по моему честному убеждению, помешать – это значит, всегда оно самое и значит –
нападать на нее везде и всюду, бить ее, пинать, топтать, рвать в клочья, ну или, на худой конец, –

костерить ее на чем свет стоит. Не жалея сил, не щадя себя. Логично, не правда ли? Проще простого. Хочешь Победить – Выкладывайся На Всю Катушку. Вот, вот слова, достойные того, чтоб прописать их большими жирными буквами и повесить табличку у себя над кроватью. И жить по этому правилу. Это как одна из Десяти Заповедей успеха. «Хочешь Победить – Выкладывайся На Всю Катушку». Крепко и твердо, как скала. Не правило, а надежный, верный такой причал в жизни.

Но стоило моему малому братишке пожить с нами какой-то месяц, и он показал мне, что есть и *другие* пути к победе. Вроде того, чтоб уступить, быть мягким, без героического скрежета зубовного и мертвой хватки... побеждать, со всей *чертовской* определенностью не будучи одним из Десятки Крутейших Парней к западу от Гряды. Того больше, он показал мне, что бывают такие расклады, когда единственная возможность победить – быть податливым, отступить, расслабиться до «все до лампочки», вместо того чтоб дать напругу на всю катушку.

И такое открытие меня едва не угробило.

Когда я выбрался из студеной водицы и увидел, что этот долговязый очкарик – не кто иной, как Лиланд Стэмпер, смущенный-потерянный, что так облажался с лодкой, Лиланд, по-прежнему неспособный управляться с механизмами крупнее наручных часов, – меня это порядком позабавило. Правда. Да и порадовало тоже, хотя виду я не подал. Я брякнул какую-то глупость и сел, весь такой невозмутимый, вроде так и надо. Вроде как встреча с ним посреди Ваконда-Ауги, где его никто уж с дюжину лет не видывал, – для меня самое пустяшное и банальное событие за этот день. Вроде как я даже немного *разочарован*, что он только сегодня появился, а не вчера или позавчера. Уж не знаю, почему я так себя повел. Но точно не со зла. Просто я никогда не был силен по части всяких приветствий и поздравлений с возвращением, и, думаю, я тогда сказал что сказал, потому что занервничал и оттого захотел немножко его подколоть. Как подкалываю Вив, когда она куксится и начинает действовать мне на нервы. Но по его лицу я понял, что кольнул куда глубже, чем хотелось бы, и задел за живое.

В последний год я много думал о Ли, вспоминая, каким он был в четыре, в пять, в шесть годиков. Отчасти потому, наверное, что известия о его матери заставили вспомнить прежние деньки, но больше – потому, что он был единственным маленьким ребенком, кого я близко знал. Поэтому я думал о нем, прикидывая: «Наш малыш сейчас тоже таким был бы. Наш малыш сейчас задавал бы такие же вопросы». И где-то он выигрывал в сравнении, где-то проигрывал. Сколько его помню, книжной мудрености в нем было через край, а вот жизненной сметки не доставало. Когда он пошел в школу, он уже знал таблицу умножения аж до семи, но так и не въезжал, почему три тачдауна дают двадцать одно очко, хотя я до посинения пытался втолковать ему правила. Помнится, когда ему было лет этак девять-десять, я пытался научить его давать пас с отскоком. Я бежал вперед, а он пасовал. Руки-то у него не кривые были и не сказать чтоб не из того места росли, поэтому я так себе мыслил, что когда-нибудь из него выйдет неплохой защитник. Если, конечно, он сподобится втиснуть задницу в форму и накачать ноги хотя бы вполовину мозгов. Но минут через десять-пятнадцать он начинает брюзжать:

– Все равно это глупая игра. И мне плевать, научусь я давать пас или нет.

А я говорю:

– О'кей, слушай сюда! Вот ты защитник у «Гринбэй Пэкерз». Трое – в третьей четверти, а четвертый – в защите. Трое – и четвертый. А ты – позади, счет девятнадцать – десять, осталась четверть. И ты заходишь во вражескую тридцатку. Вот... Твои действия?

Он мнетя, озирается, пялится на мяч:

– Понятия не имею. Мне пофигу.

– Ты должен бежать к трехочковой зоне, балда! Как так, тебе пофигу?

– Да вот так – пофигу, и все тут.

– Ты что, не хочешь, чтоб твоя команда вышла в турнир лиги? А для этого *нужен* трехочковый гол. А потом, слушай сюда, после этого гола у тебя будет шанс получить еще шестерку и единичку, и тогда команда вырвется вперед: двадцать – девятнадцать.

– Мне пофигу.

– Что?

– Пофигу, выиграют они турнир – или нет. Абсолютно!

Под конец я зверел:

– Так зачем же ты играешь, если тебе пофигу?

И он поворачивался к мячу спиной:

– Я и не играю. И не буду никогда.

Вроде того. Ну и во многом остальном – та же примерно картина. Похоже, его вообще ничто не занимало всерьез. Кроме книг. А книжная писанина была для него чуть ли не реальной жизни вокруг, которая с душой и мясом. Вот, наверное, почему так легко было запудрить ему мозги: он и рад был верить в любую чушь, которую я плел, особенно если эдак невнятно. К примеру... Да, тут вот еще что вспомнилось. Когда он был совсем мелким, он всегда встречал нас с работы на пристани. Торчал там в оранжевом спасжилете, этаким апельсинчик. Стоял, обнимал столб и глядел на нас во все глаза, шире своих стекляшек. И слушал внимательно – какую бы лапшу я ему ни вешал.

– Ли, Малой, – говорю я, – а знаешь, что я сегодня нашел в горах?

– Нет!

Он супится, отводит взгляд, *обещает* сам себе, что на *этот* раз не купится. Что мне не удастся провести его так гнусно, как вчера было. Ни за что! Никому не одурачить ясноглазого, многомудрого и начитанного Лиланда Стэнфорда, который уже знает таблицу умножения до семи и складывает в уме двузначные числа. И вот он стоит, вздыхает, швыряет камешки в воду, пока мы укладываем инструмент. Но, несмотря на все это показушное равнодушие, он заинтригован – тут уж к гадалке не ходи.

А я вожусь себе с железяками, будто и забыл уж. Наконец он не выдерживает:

– Наверное, *ничего* ты там не видел.

Я пожимаю плечами, укрываю станок рогожей.

– Или, может, и *видел* – да только ничего не *нашел*.

Я долго смотрю на него, будто все никак не могу решиться, рассказывать ему или нет, ему, такой сявке-козявке и все дела. Он начинает беспокоиться:

– Ну так чего, Хэнк? Чего ты там видел?

И я говорю:

– Это был Скрытень-Сзадень, Ли! – И я принимаюсь озираться кругом – мол, не подслушивает ли кто такие страшные мои известия? Нет, никого, не считая собак. Я понижаю голос: – О да, Скрытень-Сзадень, честное благородное слово! Мрак! Я уж *надеялся*, что больше эти гады нам досаждают не будут. Натерпелись мы от них в тридцатые. Но теперь – господи благослови!

Я цокаю языком, качаю головой и смотрю вдаль, на реку, будто сказанного вполне достаточно. И будто совсем не замечаю блеска в его глазенках. Но я знаю: крючок уже заглочен, надежно. Он увязывается за мной к дому, крепится сколько может, боясь расспрашивать. Он помнит, как на прошлой неделе я дурачил его рассказами про однокрылого супердятла, что летает кругами, или про горного ловкача, у которого одна нога короче другой на несколько дюймов, чтоб сподручней, сподножней было бегать по склонам. Он молчит. Он себе на уме. Но в конце концов, если выждать подольше, он ломается и спрашивает:

– Ладно, а чего это за *Скрытень-Сзадень* такой?

– Скрытень-Сзадень-то? – И я изображаю то, что Джо Бен называет «десятибалльный прищур». И говорю: – Ты что, никогда не слыхал про Скрытня-Сзадня? Да провалиться мне

на месте! Эй, Генри, послушай только: Лиланд Стэнфорд никогда не слыхивал про Скрытня-Сзадня! Как тебе такое *нравится*?

Батя оборачивается в дверях, поглаживает свой тугой, маловолосистый живот – он уже расстегнул брюки и кальсоны для удобства, – бросает на малыша такой взгляд, мол, безнадежный случай.

– Я так и думал. – И идет в дом.

– Ли, мальчик мой! – говорю я, транспортируя его в дом на закорках. – Скрытень-Сзадень – это самая поганая тварь из всех, какие только подстерегают дровосека в лесах. Самая поганая. Он невелик ростом, даже *карлик*, но шустрый, ужасно шустрый, что твоя ртуть. И он всегда держится у тебя *за спиной*, поэтому как проворно ни вертись – он все равно успеет ушмыгнуть с глаз долой. Правда, его можно услышать, когда на болотах тишь, ни ветерка. А бывает – и ухватишь его на миг, уголком глаза. С тобой такое случалось, когда ты один в лесу: и будто *тень* какая сбоку мелькнет, а обернешься – опа, ничего?

Он кивает, глаза – что блюда.

– Вот так Скрытень-Сзадень и болтается у тебя за спиной, выжидает. Ждет, когда вы останетесь с ним вдвоем – только ты и он. Иначе – нипочем не прыгнет. Боится, что если кто застукает – не успеет он вытащить клыки из жертвы и вовремя смыться. Потому и идет *по пятам*, покуда человек не забредет в самую глубь чащобы, и тогда – р-раз! И прикончит.

Ли переводит взгляд с меня на батю, углубившегося в газету. Наполовину верит, на другую сомневается. Обдумывает услышанное. Потом спрашивает:

– Ладно, но если он все время за спиной – почему тебе знать, что он там?

Я присаживаюсь, беру его за плечи, привлекаю к себе. Так близко, что шепчу на ушко:

– Есть у Скрытней-Сзадней такое свойство: они не отражаются в зеркале. Точь-в-точь как вампиры, усекаешь? Поэтому, когда сегодня я почуял за спиной какой-то шорох, я слезил в карман, достал компас... вот он, видишь, у него стекло – что зеркало?.. поднял его над плечом и... посмотрел. И поверишь, Ли? В зеркале... В зеркале – ПУСТО!

НИКОГО!

Он стоит с широко распахнутым ртом, а я знаю, что теперь он – весь мой, и можно было б сколько угодно ему заливать, кабы батя вдруг не разразился фырканием и хихиканьем, да таким заразительным, что и я не мог держать серьезную мину. И все происходит как всегда, когда он понимает, что его провели.

– *Хэнк!* – орет младенец. – Ах ты... – И вихрем уносится в объятия своей мамы, которая давит нас укоризненным взглядом и уводит малыша подальше от таких лживых мерзавцев, как мы.

Поэтому при встрече на речке, когда я увидел, как его проняло моими шуточками, в глубине души я готов был к тому, что он завопит: «Ах ты, Хэнк!» – и помчится прочь. Но многое изменилось. Каким бы наивным-нервным-настороженным он ни смотрелся, я понимаю, что ему уже не шесть лет. Однако под этими тонкими чертами я по-прежнему могу различить мордашку Ли, малыша Ли, которого я носил на закорках с пристани: сидит, прикидывает, сколько ему еще глотать лапшу, которую вешает на уши его чокнутый сводный братец. Но многое, многое изменилось. С одной стороны, он выпускник колледжа – первый из нашей безграмотной семейки, – и наука пошла на пользу его проницательности.

С другой стороны, ему больше не к кому устремиться вихрем и уткнуться в живот.

И, глядя на него там, в лодке, я увидел в его глазах нечто такое, по чему уразумел: не потерпит он больше моих дурацких баек. Теперь он сам имел такой вид, будто почуял Скрытня-Сзадня за спиной, будто земля ходуном ходит у него под ногами, и то, что я сказал, устойчивости грунту уж никак не добавляет. Поэтому я пообещал задать сам себе хорошую мысленную взбучку, когда останусь один, а пока что постарался разрядить обстановку, расспрашивая его про учебу. Он мигом подхватился рассказывать про лекции, про семинары, про то, как давит

ректорат, – и журчал в этом духе ручьем всю дорогу до причала, а лодка на холостых тащилась, как зимний вечер. И все это время он то зимородков над водой высматривал своим зорким глазом, то облака на небе считал, то всплески рыбин – только б на меня не смотреть. Он не желал смотреть на меня. Не желал встречаться со мной глазами. Потому и я избегал на него смотреть, разве что искоса, мельком.

Он порядком вырос – как никто из нас и представить не мог. В нем было никак не меньше шести футов, на дюйм-другой выше моего, да и весил он фунтов на двадцать больше, при всей своей худобе. Плечи, локти, колени остро выпирают под белой рубашкой и свободными брюками. Волосы острижены по уши. Очки такие здоровые, что того гляди – шею сломают. На коленях – клетчатый пиджак. Карман оттопырен – готов поспорить, там трубка. А в кармане рубашки – шариковая ручка. На ногах – грязные кеды и несвежие казенно-черные носки. И видок такой, будто к смерти на блины сходил. Начать с того, что лицо обгорело, словно он под кварцевой лампой уснул. Под глазами – здоровенные чернильно-синюшные круги. А там, где когда-то была сплошная серьезность в пухлых губах, теперь горькая и капризная такая усмешечка, вроде той, что и у матери его была. Только в его версии она куда резче и горше, будто показывает, что знает он на порядок больше мамы. Но вроде как даже горюет от своей такой умудренности. И когда он говорит, эта горчинка словно мерцает, на миг вспыхивает в его улыбке. И от нее он смотрится печальней некуда, это сродни ухмылке по ту сторону карточного стола, когда ты своим флешем прибиваешь чужой тузовый стрит, уже в который раз за вечер, и внутренний голос подсказывает партнеру, что так оно и будет до утра. Так ухмыляется Мозгляк Стоукс, когда, откашлявшись, разглядывает свой платок и убеждается, что дела его плохи, как и ожидалось... Он ухмыляется, потому что... – да, сейчас объясню. Значит, Мозгляк Стоукс – давний приятель Генри, и он вывел, что лучший способ скоротать время – постепенно умирать. И когда Джо Бен – а он противник всякой степенности и постепенности, он всегда на полных парах – встречается с Мозгляком в «Коряге», когда, скажем, Мозгляк играет с батей в домино на юбилейные баксы, что Мозгляк завел у себя в лавке к столетию Орегона, – и вот, значит, они начинают ворошить прошлое, вздыхать-охать, а Джо налетает, тискает лапку Мозгляка и говорит ему, каким бодрячком он был... когда-то.

– Мистер Стоукс, что-то вы совсем поплохели.

– Я знаю, Джо, знаю.

– Доктору показывались? То есть, конечно да. Но знаете что – приходите в эту субботу к вечерней службе. Может, брат Уокер вам чем полезен будет? Я видел, как он выхаживал людей, которые одной ногой в могиле были, да и другая туда же соскользнуть норовила.

Мозгляк качает головой:

– Даже не знаю, Джо. Боюсь, у меня все слишком запущено.

Джо Бен тянет руку, берет старую мумию за подбородок, наклоняет болезную голову так-сяк, пристальным взглядом осматривает морщинистые кратеры, где утонули глаза.

– Может быть, *может* быть. Дело зашло слишком далеко – тут и святые силы не помогут.

И Мозгляк с утроенной гордостью пышет своими недугами.

И в *этом* он весь, Джо Бен, – возможно, самый общительный и милый парень на свете. То есть он не сразу сделался самым общительным: в детстве-то он таким не был. Мальцами мы с ним дружили не меньше, чем потом, но тогда он не слишком еще умел с людьми ладить. Бывало, и слова за всю неделю не вымолвит. Это потому как он страшился брякнуть что-нибудь такое, что подцепил от своего папаши. Он был так похож на Бена Стэмпера, что до смерти боялся вырасти «весь в отца». Но как мне рассказывали, он с самого рождения был весь в папашу – те же волосы, черные как смоль, то же пригожее лицо – и с каждым годом все больше походил. В старших классах он частенько вставал у зеркала в раздевалке, кривил рот по-всякому, корчил рожи, пытался зафиксировать физиономию в таком виде – да только не помогало это. Девчонки уже тогда к нему так и льнули, проходу не давали – точно так же, как и у дяди

Бена с дамами было. И чем красивей становился Джо, тем больше страдал. В последнее лето перед выпускным классом Джо было совсем уж смирился со своей долей, решил не перечить судьбе – даже обзавелся таким же «смазливым» «меркьюри», что был у его папаши, весь блестящий, шикарный, с зебровыми чехлами, – и почти тотчас угораздило его на пикнике в национальном парке поругаться с самой невзрачной девчушкой из всей школы, и та порезала его красивое лицо перочинным ножиком. Он мало рассказывал о причинах той ссоры, но определенно изменился. Он просек, что при новой его физии можно открыться и стать самим собой.

– Хэнк, слушай, затянись это дело еще на годик – и я бы пропал!

Когда Джо говорил мне это, его батя как раз сгинул в горах – и никто его больше не видел; Джо заявлял, что еле избежал той же участи.

– Может, и так. Но мне хотелось бы знать, Джоби, что у тебя тогда вышло в парке с этой пигалицей?

– Да разве она не прелесть? Я собираюсь жениться на этой девчонке, Хэнк. И я не я буду, если не женюсь. Вот только швы снимут – и в церковь. О да, что ни делается – все к *лучшему*!

Он женился на Джен, когда я был за морем, и к моему возвращению они успели обзавестись мальчиком и девочкой. И оба – хорошенькие, будто куколки, как он сам был когда-то. Я спросил, не тревожит ли его это?

– Нет. Это нормально. – Он ухмылялся, увивался вокруг своих детишек, трепал их по голове и смеялся за всех троих. – Потому что чем они *симпатичнее*, тем меньше похожи на своего родителя, понимаешь? Так-то! Штука в том, что они с самого старта по своей колее покатят!

Он заделал еще троих, каждый краше прежнего. Но к тому времени, когда Джен носила последнего отпрыска, Джо Бен не на шутку увлекся Церковью Господа и Метафизики и вдруг озаботился всякой мистикой. И когда ребенок родился, Джо, полагаясь на знамения, типа ниспосланные в тот день, объявил, что пора завязывать. А знаки и впрямь были. В Техасе разыгрался жуткий ураган. В бухту Ваконда с приливом заплыл кит и выбросился на отмель. Его туша целый месяц отравляла воздух над всем городом, пока не прибыла саперная бригада из Сиэтла и не разделалась с ним. Еще были найдены останки Бена Стэмпера в одинокой горной лачуге, заваленной порножурналами. И в ту же ночь папаша Генри получил телеграмму из Нью-Йорка, в которой сообщалось, что его жена спрыгнула с сорок первого этажа, насмерть.

Меня эта весть зацепила куда больше, чем старика. Я много над нею думал. И когда мы плыли с Ли по реке, я был чертовски близок к тому, чтоб сорваться и пуститься в расспросы об обстоятельствах и причинах этого самоубийства. Но я решил воздержаться, как и от вопросов о том, почему он все же бросил свое привольное-фривольное житье в Йельском университете, к которому так прикипел, и приехал к нам, чтоб подсобить с лесозаготовками. Я просто прикусил язык. Я понимал, что и без того наговорил лишку и что он сам поделится, когда будет в настроении.

Мы подплыли к причалу, я привязал лодку и, заглушив движок, накрыл его куском рогожи. На секунду я подумал, может, попросить Ли заглушить мотор, пока я вожусь со швартовым? Я подумал, он, наверное, цапнет запальную свечу, которую старина Генри цапает раз в неделю по крайней мере, и его аж колдобит вдоль и поперек, – но тоже решил воздержаться. От всего-то я воздерживаюсь направо-налево. А все потому, что видел все четче: у парня действительно суровый депресняк. Он замолкает, блуждает взглядом по сторонам. И глаза будто бы стекленеют. И между нами повисает тишина, точно колючая проволока. Но при всем при этом я вполне рад. Он вернулся, он ведь и вправду вернулся! Я кашляю и сплевываю в воду, смотрю туда, где солнце нависло над бухтой, как громадный пыльно-красный нос. По осени, когда на полях палят жнивье, солнце кутается в эту самую дымчатую поволоку, а перистые облака, раскинувшиеся над закатом, похожи на багряный рябинник, гнущийся по ветру. Это в самом деле красиво. Почти что слышно, как они звонко шелестят в небе.

– Глянь туда! – говорю я, показывая на закат.

Он медленно оборачивается, подслеповато жмурится.

– Что? – спрашивает.

– Вот. Глянь туда. Где солнышко садится.

– И что? – **БЕРЕГИСЬ! – Где?**

Я порываюсь было расписывать красоту, но понимаю, что он просто не видит, точно не видит. Ровно дальтоник. Да, что-то здорово в нем перемкнуло. И я говорю:

– Ничего, ничего. Просто лосось прыгнул – вот и все. Ты пропустил.

– Да? – *Ли избегает смотреть на брата прямо, но подмечает каждое его движение:*
БЕРЕГИСЬ! СМОТРИ В ОБА!

Я убеждаю себя пожать ему руку и сказать, как рад его возвращению, но знаю, что не смогу. Не смогу, как не могу поцеловать старика в колючую щеку и сказать, как мне паршиво оттого, что он поломался. Как и батя не потреплет меня по спине и не скажет, какой я молодец, как хорошо тружусь за нас обоих с тех пор, как он поломался. Это просто не в нашем духе. Поэтому мы с братиком просто стояли как истуканы, пока вся наша свора не проснулась от человеческого присутствия и не высыпала поглядеть, не стодится ли нам на что-нибудь их собачья помощь. Они скалились, ластились, виляли своими никчемными хвостами и вообще учинили самый истовый галдеж и скулеж, какого я уж давненько не слыхивал... аккурат с той минуты, когда в последний раз лодка подошла, час назад.

– Господи, погляди только! Когда-нибудь я утоплю всю эту вонючую стаю. Шума-то сколько!

Парочка вешается на мою голую ногу, как раз когда я пытаюсь натянуть штаны. Псы так невыносимо счастливы моим возвращением, что, конечно, обязательно надо исполосовать меня до кости, – иначе никак не оценить мне глубины их чувств. Я отмахиваюсь от них штанами:

– Пшли вон, сучьи дети! Отвяньте от меня! На кого другого бросайтесь! На Лиланда Стэнфорда прыгайте: он-то в штанах! С ним поздоровайтесь, если так уж вам приспичило!

Ли тянет руку: однако берегись; будь осторожен...

И тут впервые за свою безмозглую жизнь хоть один из этих придурков внемлет тому, что ему говорят. Старый, глухой и полуслепой рыжий пес с проплешинами на заднице отваливает от меня, ковыляет к Ли и принимается лизать его руку. Секунду Ли стоит неподвижно... *цвета, обступающие Ли и его сводного брата, пронизывают звенящий воздух. Небо – синее, облака – белые, звонкие, прозрачные. И вспыхивает этот желтый лоскуток. Что это за место?..* а потом братик закидывает пиджак на навес, присаживается на корточки, и такое впечатление, что у этой псины пару веков не было никого, кто б за ухом почесал, судя по реакции. Я наконец натянул штаны, взял свитер, стою жду, когда Ли вдосталь насладится этой трогательной встречей. Он поднимается – и собака тоже встает на задние лапы, а передние кладет ему на грудь. Я хотел было осадить животину, но Ли говорит: погоди-ка, погоди-ка, *пожалуйста...*

– Хэнк... это ж ведь Ржавчик? Старина Ржавчик? В смысле, он ведь, Ржавчик, был стариком еще тогда?.. Неужто жив...

– Да, черт возьми, это старина Ржавчик, Ли. Но ты-то откуда знаешь? Он в самом деле такой древний, что ли? Блин, наверное, так, раз тебя застал. Глянь-ка: да он никак признал тебя!

Ли ухмыляется мне, потом берет собачью голову в руки, и они чуть ли не трутся носами.

– Ржавчик? Привет, Ржавчик, привет... – повторяет он снова и снова. – Привет, старина Ржавчик, привет... – говорит он... *синий, белый и желтый. И красный – это флаг полыхнет на ветру. Деревья колышутся под невидимой вуалью соломенного дыма. Старый дом безмолвно и величаво дыбится на фоне далеких гор, нависает над пристанью. Что это за дом?*

Я качаю головой, глядячи на эту парочку.

– «Мальчик с собакой», вторая серия, – говорю. – Охренеть можно: только глянь на старого пройдоху. Уверен, он *помнит* тебя, Малой. Только глянь: он же рад-радешенек снова тебя видеть. Нет, что ли?

Я снова качаю головой, потом подбираю ботинки, иду по мосткам к дому, оставив Ли, вкрай разомлевшего от приветствия старой глухой псины. Я твердо решил помочь парню встать на ноги, подлатать ему душу, покуда он совсем не расклеился. Бедный малыш. У него в глазах слезы, как у девчонки. Ничего, я приведу его в чувство. Но не сейчас. Позже. Пока лучше его оставить.

Итак, я убираюсь в дом решительно и дипломатично (кроме того, мне бы не хотелось оказаться рядом, если мой братишка, выпускник колледжа, и в шесть лет ворочавший в голове двузначными цифрами, вдруг припомнит, что старому Ржавчику было не меньше десятка, когда Ли уехал, и уже тогда был он дряхлой хромой дворнягой. А с тех пор двенадцать лет прошло. И получается возраст, для собаки чересчур уж почтенный. Не могу сосчитать вот так вот сразу и точно, но, сдается мне, хоть я в университетах и не обучался, порой лучше быть немножко туповатым в арифметике).

Что это за земля такая? – продолжал Ли спрашивать сам себя. – *Что я делаю здесь?*

Ветерок колеблет мир, опрокинутый в плавно катящиеся мимо пристани воды, разбивая и выкладывая вновь причудливую мозаику из облаков, неба и гор. Ветерок выпускает последний вздох – и мозаика прояснилась. И вновь мир подернулся зыбью, затрепетал, закачался на волнах. Ли поднял глаза от воды, в последний раз погладил седую, костлявую собачью голову и глянул вслед удаляющемуся брату. Хэнк босиком шагал по причалу, закинув свитер на конопатое плечо и неловко сжимая ботинки уцелевшими пальцами увечной руки. Ли замороженно наблюдал игру мускулов, перекатывавшихся по узкой белой спине, размашистые движения рук, гордую посадку головы. Неужто сама по себе ходьба требует таких мышечных усилий – или же Хэнк сознательно демонстрирует безупречную мужественность своего сложения? Каждое его движение выражало неприкрытую агрессию против самого воздуха, который Хэнк рассекал своим телом. Он не просто дышит, подумал Ли, вслушиваясь в пыхтение сломанного Хэнкова носа, – он пожирает кислород. И он не просто идет – он потребляет метры своим хищным шагом. Да, неприкрытая тотальная агрессия – лучше не скажешь, резюмировал он.

И все же он не мог не заметить, каким наслаждением отдаются в плечах эти могучие взмахи рук, с каким вкусом ноги вкушают свою дорогу. *Эти люди... неужто я один из них?*

Деревянное покрытие причала за годы было до такой степени побито шипастыми башмаками, обито дождями, иссушено, побито и снова смочено, что уподобилось вычурному серо-серебристому ковру тонкой пряжи. Доски прогибались под ногами, хлюпая по воде. Сваи, на которых причал поднимался и опускался вместе с уровнем воды, в местах трения были заполированы до блеска, а в остальных – обросли бахромчатыми космами моллюсков. В трех футах над рекой эти устрицы и мидии шкварчали и потрескивали на солнце, судача о прошлых и грядущих приливах.

В конце причала – мосток на петлях, с односторонними перилами, взбегал по набережной к изгороди, что обрамляет двор; при высокой воде, когда причал всплывает, мосток ложится почти горизонтально, а при низкой опускается так круто, что в мокрядь да без шипованных ботинок рискуешь оскользнуться и выдрой плюхнуться в реку. Хэнк преодолевает этот подъем бегом, и собаки, слышав эти особенные, гулкие шаги, всей стаей устремляются вослед. Они уверены: если кто-то идет к дому – значит не минует и банок из-под кофе, прибитых у крыльца, а ужин – он не ко времени не бывает.

Собаки оставили Ли в одиночестве. И даже старый рыжий пес, поскуливая, плетется в арьергарде своры, променяв Ли на мысль о миске. Пару секунд Ли смотрит, как старый пес карабкается по помосту, затем берет пиджак с рубероидной крыши лодочного навеса и следует за собаками.

С проводов, висящих над водой, на его тень пикирует зимородок. *Что это за существа такие? Где эта земля?*

В одном месте причал окатило водой, поднятой взрывом. От образовавшейся лужи собачьи лапы выткали на дощатом ковре свой крапчатый узор поверх более крупных следов Хэнка.

– Если б не пятка, – вслух констатирует Ли, разглядывая отпечатки на настиле, – всю стаю можно было бы отнести к одному биологическому виду. – Его голос прозвучал строго и странно, но вовсе без издевки, как он хотел.

Дальше он подмечает еще один тип следов: неясные, призрачные контуры, высохшие до почти полного исчезновения. Наверное, следы той женщины, жены Хэнка. Ли наклоняется, вглядывается повнимательней. Он оказался прав: «Дикая Орхидея» брата Хэнка гуляет босиком, как и было предсказано. Но, отследив ее путь до мостка, ведущего к дому, он четче видит, как миниатюрна и узка ее стопа, как высок подъем, как точен и легкий шаг – будто эти следы и вовсе не оттиснуты клише ног, но нарисованы мимолетными мазками кисти китайского каллиграфа. Да, она действительно босонога, но, как понял Ли, касательно ее роста и веса он, пожалуй, ошибся.

Взобравшись по мостку, он остановился и окинул взглядом дом с прилегающей землей. Подле печи, выложенной из речного песчаника, громоздится внушительная пирамида дров, блистающих в лучах заката, подобно слиткам благородных металлов. Из круглой колоды торчит колун, своею ручкой указующий на старый рыжий сарай. Одна стена сарая увита пожелтевшей, пожухшей, но все еще настырной лозой. А на сдвижной фасадной двери, огромной и покосившейся на своих роликах, растянуты для просушки шкуры енота, лисы и мускусной крысы. *Кто изловил этих зверушек и освежевал их? В нашем-то мире, в наши-то дни? Кто решил поиграть в бледнолицего брата Дэниэла Буна в лесах, загаженных радиоактивными осадками?* А рядом на стене, броская в своем одиночестве, больше похожая на уродливое и несоразмерное окно, – темная и массивная медвежья шкура. *И что это за племя такое, так в себе замкнувшееся, что лишь бредом во сне отвечает безумию ночи?*

Он так и вглядывался в темный омут медвежьей шкуры, будто в черноту ночного окна, силясь прозреть нечто за ним, когда Хэнк вошел в дом...

(Когда я вошел в кухню, папаша уже уплетал ужин за обе щеки. Я сказал ему, что Малыш вернулся домой, а он уставился на меня с открытой жирной пастью, из которой торчало ребро поросенка, будто клык у секача.

– Какой такой малыш? – Его голос рокошет вокруг этой кости. – Какой малыш и к кому домой вернулся?

– Твой сын вернулся в наш дом, – растолковал я ему. – Лиланд Стэнфорд, взрослый, как эта жизнь. Но ты, я так погляжу, и на секунду randevу с тарелкой прервать не желаешь, да? – Я говорю спокойно, просто сообщаю новость – а то ж Генри и на ровном месте в бутылку полезет. Поворачиваюсь к Джо Бену. – Где Вив, Джоби?

– Думаю, марафет наводит наверху. Они там с Джен...

– Постойте-ка! О чем это ты болтал сейчас, какой такой малыш?

– Да твой, черт побери. Лиланд.

– Да брось заливать! – Он думает, что его разыгрывают. – Никто никуда не вернулся!

– Как знаешь... – Я пожимаю плечами и делаю вид, будто собираюсь сесть за стол. – Мое дело сказать...

– Что? – Он злобно тычет вилкой в стол. – Что за хрень тут творится за моей спиной, хотелось бы знать? Чесслово, я не потерплю...

– Генри, вынь кость изо рта и послушай меня. Если ты хоть на минуту прекратишь напивать рот, возможно, мне удастся впихнуть тебе хоть что-нибудь в уши. Твой сын Лиланд вернулся домой...

– Где он? Я хочу видеть этого засранца! – Генри взвился.

– Полегче давай, черт возьми. Об этом я тебе и толкую. Поэтому уймись хоть на минуту! А то, не ровен час, сграбастаешь его в рот и зажуешь до смерти, покуда не поймешь, что он – не свинья отбивная. Мне это было бы нежелательно. А теперь слушай. Он уже практически здесь. Но прежде чем он войдет, надо кое-что решить без обиняков. Сядь! – Я положил ему руку на плечо, усадил обратно и сам оседлал стул. – И ради бога, вынь ты эту костяку изо рта! И слушай сюда.)

Ли поворачивает голову, механически. На задворках в земле рьяно роются свиньи, похожие на гигантских переростков личинки медведки. Чуть дальше – сад плюгавых яблонь, предлагающих солнцу свои сморщенные плоды. А за всем этим – неоглядная зеленая завесь леса, сотканная из папоротников, ежевики, сосен и елей, ниспадающая от самых облаков до земли. *Декорации – сошли бы разве лишь для какой-нибудь «Девушки с Золотого Запада»²³. И что за публика до сих пор смотрит такое старье? И что за актеры по-прежнему играют в таких пьесах?*

Эта зеленая занавесь когда-то была одной из границ детского мира Ли. Стальная река – другой границей. Две параллельные стены. Мать Ли всеми силами пыталась привить ему то же понимание незыблемости этих оград, каким обладала сама. Он ни в коем случае не должен, твердила она, заходить в этот лес на холмах, а главное – *обязан* держаться подальше от берега этой реки. Для него эти холмы и эта река – как *стены*, понятно? Да, мам. Точно? Да. *Точно-точно?* Да. Холмы и река – это стены. Тогда – ладно. Беги играй... но будь осторожен.

Но как быть с остальными стенами? С восточной и западной, которые бы дополнили южную стену леса и северную – реки, завершив строительство узилища? Как быть с верховьями реки, мама, где так много склизких мшистых камней, идеально подходящих для переломов тонких детских косточек? А с низовьями, где каждый угол ржавых внутренностей заброшенной лесопилки грозит заражением крови и где бродят стада вепрей-людоедов... как с этим-то быть?

Но нет: только лес и река. В ее тюрьме было лишь две стены. А его – еще в двух нуждалась. Она была приговорена к пожизненному заключению меж двух параллельных линий. Или не совсем параллельных. Ведь однажды они пересеклись.

Но кто наколот дров, развел свиней и вырастил эти яблони на этой несуразной земле? И какой оптический обман позволяет видеть редкие звездочки триллиумов, рассыпанные меж серо-серебристых елей, но не замечать скопищ бледных поганок, растущих там же? Как можно любоваться розовым дымчатым солнцем, озаряющим серую водную гладь, но не видеть луж крови на сером асфальте... и бирку, что по-прежнему на пальце ее ноги?

«Посмотри на закат – фи́га с два!»

(А самое хреновое, что, когда я наконец-таки *уломал* старого пердуна вытащить кость из пасти и усадил его за стол перед собой, и вот он сидел, изгвазданный в подливке по самые брови, ждал, что я выложу, чего у меня на уме, я вдруг понял: да *не могу* я выложить, что у меня на уме.

– Послушай, – сказал я, – это просто... что ж... черт, Генри! Ну, во-первых, он как бы проделал долгий и нелегкий путь. Он сказал, что добирался на автобусе всю дорогу. Немудрено, что он аж весь зеленый с устатку... – Не могу сказать, потому как боюсь, что старик распалится и пойдет задавать вопросы, про которые я думаю...)

Обернувшись, Ли наблюдает кончину солнца, тонущего в зловонной трясине, и безмолвный вопль светила леденит плоть. Содрогнувшись, он продолжает путь ко входной двери, ступает внутрь. Видно, тот, кто обновил наружность старого дома, сем и ограничился. Внутри вид еще неряшливее и непригляднее, чем помнил Ли: ружья, вестерны в мягкой обложке, пивные банки, пепельницы, переполненные апельсиновой кожурой и конфетными фантиками; гряз-

²³ «Девушка с Золотого Запада» («The Girl of the Golden West», 1938) – романтический мюзикл американского кинорежиссера Роберта З. Леонарда о владелице салуна Мэри Роббинс, единственной женщине в маленьком городке.

ные ломаные запчасти, выздоравливающие на кофейных столиках... Бутылки из-под колы, молочные бутылки, винные бутылки – они расположились в комнате так равномерно, будто кто-то специально упорядочивал этот бардак. «Северо-западный стиль дизайна интерьера, – заключил Ли, стараясь улыбаться. – Ярко выраженная хлам-тематика. Представляю критику: „На мой взгляд, эта сторона слишком доминирует над остальным ландшафтом. Следовало бы установить здесь бутылки поплотнее...“»

Кто устанавливал весь этот мусор?

Изменилось не так уж много: разве лишь за десяток лет грязные башмаки еще резче обозначили темную тропинку, ползущую по полу (все еще не доделанному) от входной двери в глубину, где по-прежнему сушатся-тушатся линялые желтые носки, развешенные на проволоке над огромной чугунной печью, что по-прежнему пускает дым из по-прежнему не замазанного шва в трубе.

Массивная дверь захлопнулась под собственной тяжестью. Мусор истаял в полумраке. Ли оказался один на один с неприветливой комнатой цвета золы. Только он – и старый очаг, стенающий и пыхтящий, будто робот, страдающий одышкой, таращил свой пылающий стеклянный глаз. След Хэнка, влажно поблескивавший на полу, обрывался у закрытой двери в кухню, откуда до Ли доносились приглушенные возгласы, явно имеющие касательство к его приезду. Он не мог разобрать слов, но знал, что скоро родичи навалятся на него во всем сиянии света, покамест скромно сочившегося в комнату из щели между косяком и дверью. Он молил их повременить, дать ему хоть немного времени, чтоб освоиться с обстановкой. Он застыл на месте. БЕРЕГИСЬ. Наверное, они не слышали, как он вошел. Если он будет стоять недвижно – возможно, они так и не почувт его присутствия. БУДЬ НАЧЕКУ...

Стараясь почти не дышать, он принялся осторожно озираться, силясь разобрать хоть что-нибудь в этом сумраке. Три окошка, забранные самодельными витражами из разных стекол, создавали весьма угрюмую кровавую иллюминацию. Иные из стеклышек были покрашены. Но и чистые были так стары и такого скверного качества, что свет, пропускаемый ими, сгодился бы разве лишь для придонных океанических глубин. Это вялое освещение скорее мешало глазам, нежели помогало.

По всей комнате подвижными пластами слоился радужный дым. Если б не очаг, что-либо разглядеть было бы практически невозможно; языки пламени, пляшущие за кварцевым экраном, прищипливали корчащиеся предметы по местам.

Это же как нужно отстать от жизни, чтоб до сих пор пользоваться подобным готическим антуражем? И что за тусовка неупокоенных громыхателей цепями питает этот удумчивый камин и дышит этими настельными дымами?

Ли не хватает света, но он не рискует на цыпочках подойти к лампе. Приходится довольствоваться тем огнем, что бьется в печурке и подмигивает круглым стеклянным глазом. Сполохи резво скачут по комнате, по очереди заигрывая с предметами интерьера... пышно разодетая французская королевская чета, исполняющая свой керамический менуэт во дворце хрустального шара; охотничий нож с роговой рукоятью, норовящий освежевать стену, избавить от обоев; целый батальон литературы сокращенного состава от «Ридерз дайджест» плотным строем марширует по угловой полке; за ними крадется во тьме подушка для булавок; дышат тени; табуретки прядут своими длинными ногами паутину теней... *но где же истинные аборигены?*

(– Послушай. – Я выглядываю во двор из кухонного окна. – Думаю, он уже тут, в зале, – шепчу я на ухо старику. – Он уже вошел в дом и сейчас там стоит, мнется.

– Один-одинешенек? – Генри в ответ тоже шепчет, даже не осознавая этого, вроде того как культурный человек машинально понижает голос в библиотеке или в борделе. – А чего это с ним?

– Да нормально с ним все. Говорю же: просто малость смурной.

– Так чего б ему не зайти сюда да не заморить червячка, коли он уже здесь и коли с ним все нормально? *Клянусь*, я вообще не понимаю, какого хрена...

– Т-ш-ш, Генри! – шипит Джо Бен. Все его детишки смирно сидят при своих тарелочках, и глаза у каждого – в цельный доллар, как у Джен. – Хэнк хочет сказать, что парня просто дорога притомила малость.

– Это я уже понял. *Говорили* уже.

– Да тихо же!

– Да чего ты на меня шикаешь? Мы что, от него таимся, что ли? Он же мой *сын*, черт побери. И поэтому я хочу знать, какого хрена...

– Пап, – говорю, – все, о чем я прошу, – дай ему хоть минутку, прежде чем ворвешься туда и набросишься со всякими своими расспросами.

– С какими такими еще расспросами?

– Господи, ну сам знаешь.

– Блин, *это* мне нравится! О чем, по-твоему, я должен его пытаться? О его маме? О том, кто ее толкнул, или что там? Господи, ну не *полный* же я чурбан, что б вы там, сучьи выродки, про меня ни думали... Прошу прощения, Джен, за мой французский, но, сдается мне, *эти два сукина сына* думают...

– Ладно, Генри, *ладно*...

– Я хочу сказать: какого хрена? Разве он – не мой сын, плоть от плоти, яблоко от яблони и все такое? Может, на вид я сейчас как из гипса – но внутри-то я *пока* не окаменел!

– Да все в порядке, Генри. Я просто не хотел...

– Так если *в порядке*... – Он встает рывком. Я вижу, что говорить с ним без толку. Покачнувшись, он хватается здоровой рукой за скользкий пластик нашего нового обеденного стола. Стол, что говорить, коварный: ножки не прямые, как положено, а пижонски отогнуты наружу, так и норовят подсечку поставить. Я подаюсь вперед, готовый подхватить старика. Но тот поднимает руку, грозит пальцем. Стоит, весь из себя сбалансированный, форма ого-го, ситуация под контролем, без дураков, обводит нас долгим-долгим взглядом, потом треплет по волосам малыша Джона, немного струхнувшего от всего этого, и говорит: – Итак. Если все в порядке... надеюсь, мне будет дозволено выйти туда и поприветствовать своего *сына*? Не хочу быть неправильно понят, но, *думаю*, на это я еще сгожусь. – Элегантно, как башенный кран, разворачивается на гипсовой ноге. – Мне *кажется*, хоть с *этим-то* я справлюсь...)

Печь гудит и ворчит, спесиво надулась на своих кривых ножках. Ли стоит перед нею, в задумчивости поднеся палец к уголку рта, изучает коллекцию безделушек, собранную за годы: атласные подушки с выставки в Сан-Франциско; свидетельство в рамке, объявляющее Генри Стэмпера соучредителем Общества Могучих Мартышек округа Ваконда; колчан стрел и лук торчат в доске; поздравительные открытки, прибитые к доске; веточка омелы, затаившаяся под потолком; пластмассовая утка, выпучившая глаза на плюшевого мишку, развалившегося в самой бесстыдной позе; фотографии рыб, гордо болтающихся на леске у бедра своих добытчиков; фотографии медведей, которых обнюхивают собаки; фотографии кузенов, племянников и племянниц, все – с указанием дат. *Кто нащелкал эти снимки, надписал даты и собрал эту варварскую коллекцию стеклянных бус?*

(Я выхожу и оглядываюсь. Старик медлит в дверях, перед лестницей залы:

– Жаль, слух у меня неважный... – Перегибается через перила, вглядывается. – Эй, парень? – кричит он. – Где ты там во мраке?

Я протягиваю руку, нащупываю выключатель. Вот и Ли: стоит у бати прямо по курсу, ладошкой рот прикрыл, и вид у него такой, будто не знает, то ли ринуться в объятия, то ли смыться от греха подальше.

– Лиланд! Мальчик мой! – вопит батя и вприпрыжку, бряцая гипсом, бросается на Ли. – Ах ты, сукин сын! Что ты там бормочешь? Ась? Боже всемогущий, Хэнк, ты только погляди,

какой здоровущий-то! Что твоя каланча вымахал! Еще б чуток мяска на эти кости – и мы сделаем из него человека! Иди же сюда, Лиланд!

Отвечать парню затруднительно: старик ревет ему прямо в ухо. Генри еще больше сконфузил беднягу, выбросив для пожатия левую лапу. Когда же Ли уразумел и тоже протянул свою левую, Генри вдруг передумал ручкаться, а вместо этого принялся тискать Ли за плечи, будто оценивая приобретение для плантаций. Тут уж Ли совсем потерялся, какую еще руку подать. Глядя на них, я не смог удержаться от смеха.

– Кожа да кости, Хэнк, кожа да кости. Ну ничего – мы-то уж нарастим *мясца* на этот каркас. Лиланд, чтоб тебя, как ты?)

И это он? Рука, вцепившаяся в бицепс Ли, была тверда, как дерево.

– Да так, помаленьку.

Ли неловко пожал плечами и опустил лицо, избегая смотреть на устрашающе бодрого папашу. По мере того как старик говорил, его рука, точно древесный корень, ползла все ниже, напористо и неумолимо, пока не стиснула пальцы Ли, высекая искорки боли, взметнувшись до самого плеча. Ли хотел было возмутиться, вскинул глаза – но осознал, что старик по-прежнему громко говорит с ним тем же непререкаемым и властным голосом. Ли удалось образовать гримасу в подобие застенчивой улыбки: отец, продлевая пожатие своей длани, отнюдь не желает причинить боль. Наверное, это просто традиция такая – при встрече крушить фаланги и суставы. В каждом братстве свои приветственные ритуалы – чем Могучие Мартышки Ваконды хуже других? Наверное, у них в ходу и суровые обряды посвящения, и беспредельные оргии. Так почему б не быть особому приветствию Могучих Мартышек? *И он меня породил?*

И только-только он погрузился в изучение этих вопросов, как Генри умолк, предоставляя слово сыну.

– Да так как-то... – *Как бишь я звал-то его в детстве?* Он вглядывается в эти некогда зеленые глаза, ныне выцветшие добела везде, кроме зрачков. *Папа?..* Невообразимый рельеф лица, изборожденный ливневыми оврагами орегонских зим, иссушенный береговыми ветрами. – Не сказать чтоб шикарно... – а старик все дергает его руку, будто сигнальный трос, – но худо-бедно выкручивался... – *Или батя?*

И снова его щеки опаляет взмахом огненных крыльев, а все предметы в комнате трепещут, словно картинки на кружевной занавеске, терзаемой ветром...

– Ну и славно! – Эта новость приносит старику огромное облегчение. – Худо-бедно выкручиваться – это почти все, на что можно надеяться при этих нынешних пиявках, «крово-социалистах». Ладно. Садись давай. Хэнк сказал, дорога длинная была?

– Достаточно, чтоб малость утомиться. – *Папа?.. Батя?..* Это твой *отец* – уверял чей-то недоуменный голос. – Достаточно, – добавил он, – чтоб прийти к заключению: в ногах правды нет, но нет ее и выше.

Генри засмеялся:

– Понимаю! Дело-то молодое, а? – И он разухабисто подмигнул Ли, а несчастную руку так и не выпустил. Тут в поле зрения нарисовался Джо в сопровождении супруги с детьми. – Ага! Явились не запылились! Вот и Джо Бен. Ты помнишь Джо Бена, Лиланд? Сына твоего дяди Бена? Только он, видишь ли... Хотя... Его ведь вроде порезали еще до того, как ты с ма...

– Малыш! – Джо ринулся вперед, на выручку многострадальной кисти Ли. – Конечно! Ли еще застал, когда мне личико разукрасили. Кажется, даже... нет... минутку... я вот не помню... мы с Джен поженились в пятьдесят первом... А ты когда отбыл? В сорок девятом? Пятидесятом?

– Около того. Я уже и счет потерял...

– Значит, ты свалил аккурат перед нашей женитьбой. Так ты ж, выходит, женушку-то мою и не видел! Джен, иди сюда! Это Ли. Приобрел новый загар, но в остальном все такой же. А это Джен. Правда, она милашка, Лиланд?

Джо поспешно посторонился, и Джен нерешительно вынырнула из сумрака, стыдливо вытирая руки о фартук. Она мялась отрешенно на заднем плане, а весь передний был оккупирован ее маленьким, но шустрым мужем, представлявшим ее и детей.

– Оч приятно... – промямлила она, когда Джо умолк, а затем снова истаяла в проеме холла, подобно робкой нимфе в ночи.

– Она малешко чурается незнакомых, – объяснил Джо Бен так гордо, будто перечислял достоинства титулованной левретки. – А вот мои исчадия не стесняются, а? – И он экскаваторно когтит близняшек за ребра, вызывая корчи и умильные гримасы. – Эй, Хэнкус, а где твоя скво, коль уж мы решили показать Лиланду все свои сокровища?

– А пес ее знает. – Хэнк озирается. – Вивиан! Я не видал ее с тех пор, как в дом вернулся. Может, заприметила Лиланда – да и поспешила спастись бегством?

– Она наверху, джинсы снимает, – подсказала Джен и тотчас добавила: – В смысле, в платье передевается, в платье. Мы с ней на люди собираемся, послушаем, что там этот новый дядька в церкви расскажет.

– Вив старается быть, что называется, «просвещенной дамой», Малой, – извинился Хэнк. – У баб оно порой случается – зуд этот общественный. Ну, хоть чем-то себя занять.

– Если мы сейчас же не сядем за стол, то кто-то ляжет на! – Старик решительно припечатал к полу свою гипсовую конечность. – Пора уж начать навешивать мясо на кости этого дохляка! – И он загромыхал к кухне.

– Ты как, не прочь перекусить, Малой?

– А? Ну, я даже не знаю...

– Все сюда! – воззвал Генри с кухни. – Главное – парня сюда тащите, прямо к столу. – (Ли в некотором оцепенении уставился туда, откуда исторгался этот голос.) – Эй, вы, отродье! Шевелите копытами! Джо, отлепи свой выводок от пола, а то они по уши в землю уйдут!

Дети со смехом бросились врассыпную. Ли стоял, щурясь на яркий свет, ударивший с кухни через распахнутую дверь:

– Хэнк, мне кажется, я бы лучше...

Тут он услышал, как гипсовый стук возвращается.

– Лиланд! Ты ведь любишь свинные отбивные, верно? Джен, сообразишь для парня тарелку?

– Я бы лучше... – *Кто этот старый голем из гипса и дерева, в исполнении Лона Чейни?*²⁴ *Это мой отец?*

– Сюда! А пиджак повесь сюда... Брысь отсюда, мелюзга!

– Лучше поберегись, Малой. Даже не думай оказаться между ним и обеденным столом.

– Хэнк... – **БЕРЕГИСЬ!** – Я бы...

– Садись, садись, парень! – Генри схватил его за запястье и втащил в ярко освещенную кухню. – У нас тут есть что порубать – это тебя взбодрит! – Древесные корни. – Вот, паратройка отбивных, картошечка рассыпчатая...

– Может, горошку? – спрашивает Джен.

– Спасибо, Джен, я...

– Да куда ж без этого! – Генри с грохотом огибает стул, направляясь к плите. – Ты ведь ничего не имеешь против горохового пюре, сынок?

– Нет, но я бы лучше...

– А как насчет грушевого компота?

²⁴ *Лон Чейни* (Леонидас Чейни; 1883–1930) – актер немого кино, более всего прославился исполнением ролей зловещих персонажей (Квазимодо, Призрак Оперы и т. д.); был известен как «человек с тысячей лиц» благодаря изобретательному использованию грима. Возможно, имеется в виду Лон Чейни-мл. (Крайтон Тулл Чейни; 1906–1973) – сын Лона Чейни, также киноактер, сыгравший немало ролей в фильмах ужасов.

– Может... в другой раз. В смысле, я сейчас с ног валюсь после дороги. Мне бы соснуть пару часиков...

– Вот ведь черт! – Генри громыхает обратно. Нависает над Ли, пышет жаром, перенятым от плиты. – Мальчик, наверное, подыхает от усталости! И как мы не подумали? Конечно. Тарелку – в комнату! – Он зачерпывает горсть печенюшек из вазы в виде Санта-Клауса и вываливает их на тарелку Ли. – Вот так, вот так-то!

– Мам, а нам можно немножко печенья?

– Да погодите вы!

– Ах да! – Внезапно Джо Бен вскакивает с места... *в кухне – не протолкнуться...* и начинает что-то говорить... *и почему все стоят?..* но давится бисквитом, что был у него во рту. Принимается прочищать горло коротким, быстрым кашлем, тянет шею, будто петух, изготавливающийся к кукареканью. – И! И!

– Ну, *ма-а-ам!*

– Не сейчас, радость моя.

– Ты уверен, Малой? Может, перекусишь сперва? – Хэнк рассеянно похлопывает по спине сидящего, посеревшего лицом Джо Бена. – Там холодновато наверху, для ужина...

– Да я так устал, что кусок в горло не лезет, Хэнк.

Джо Бен наконец избавился от бисквита и квакает придушенным голосом:

– Его багаж. Где его сумки? Я хотел их принести.

– Сиди, сам схожу! – говорит Хэнк, направляясь к задней двери.

– А вот фрукты...

Джен достает из холодильника два морщинистых яблока.

– Погоди, Хэнк...

– Да бог с тобой, Джен. Разве ты не видишь, что мальчику и стоять-то тяжело! Ему нужен отдых, а не эти два твоих ублюдочных заморыша! Чесслово, Лиланд, не понимаю, как можно жрать такую дрянь? Но, скажу я тебе, – дверца холодильника снова распаивается, – вот я тут груш припас, свежих, вчера собраны...

– Что такое, Малой?

– Да не было у меня никакого багажа, не помнишь? Не в лодке, по крайней мере.

– А и *верно*. Я еще на переправе озадачился.

– Водитель автобуса не счел возможным...

Голова Генри снова появляется из холодильника.

– Ага! Вот, попробуй! Здоровущие-то какие! – Груша получает прописку по соседству с печеньями. – Самое то, что надо, после дальней-то дороги. Меня-то с пути всегда крепит – и тут с грушей ничто ни в какое сравнение не пойдет!

Все – БЕРЕГИСЬ! – встают.

– Слушай! – Джо Бен прищелкивает пальцами. – А *место-то* для него есть?

Боже. Все продолжают суетиться...

– Ах да. – Старик Генри с силой захлопывает дверцу холодильника. – Верно! – Он наполовину внедряется в дверной проем, вытягивает шею, словно высматривая там портье. – Верно. Ему нужна комната, так?

Пожалуйста! Все просто...

– Да я уж все подготовил для него, пап.

– Мам, ну, *ма-ам!*

– Я привезу его сумки! – Джо Бен устремляется к выходу, впереди всех.

– Он сказал, они на автобусной станции.

– Не забудь свою тарелку, Ли!

– Думаешь, жрачки тебе хватит, парень? Джен, дай ему стакан молока.

– Да не надо. Правда. Пожалуйста. – *Пожалуйста!*

- Пошли, Малой. – Хэнк...
- А если еще что понадобится – только крикни нам!
- Да я...
- Да не парься, Малой...
- Да я...
- Не парься. Прямо вверх – и все.

Ли не чувствовал руки Хэнка, направлявшей его в странствии через холл: ее прикосновение растворялось в общей дрожи... *Я – такой же? Они – свои? Эти люди? Эти психи?*

(– После покалякаем, – кричит батя. – У нас еще будет уйма времени для трепы.

Парень заикается о чем-то в ответ, но я говорю ему:

– Наверх, Малой! А то он тебя до смерти заболтает!

И я, не мешкая, подталкиваю его к лестнице. Он поднимается по ступенькам передо мной, бредет, будто контуженый или что-то вроде того. Когда же мы взбираемся на второй этаж, указывать ему путь не приходится. Он останавливается аккуратно перед своей старой комнатой. Ждет, пока я вожусь с замком, и заходит. Такое впечатление, будто он ее сам по телефону забронировал, – такой он уверенный.

– А ведь ты мог ошибиться, знаешь ли, – скажусь я. – Ну как я другую какую комнату имел в виду?

Он оглядывает комнатушку, где все по люксу – свежие занавески, чистые полотенца, готовая постель, – и мне в ответ:

– Ты тоже мог ошибиться, Хэнк, – говорит он тихо, оценивая, как я прибрал его старую каморку. – Я ведь мог и не приехать. – Но он-то не улыбается. Для него это не смешно.

– Ой, знаешь, как Джо Бен своим ребятишкам говорит: лучше соломки подстелить и не упасть, чем фунт зеленки извести!

– Хорошая мысль, чтоб отойти с нею ко сну, – говорит он. – Ладно, увидимся завтра.

– Завтра? Ты что, всю жизнь продрыхнуть надумал? Еще ж только шесть, а то и половина.

– В смысле, позже. Увидимся позже.

– Ладно, Малой. Спокойной ночи.

– Спокойной ночи! – говорит он, закрывает за мной дверь – и я почти что слышу, как этот бедолага вздыхает.)

Секунду Ли стоял в целительной тишине своего пристанища, потом быстро подошел к кровати, поставил тарелку и стакан молока на тумбу в изголовье. Сел на постель, руками обхватил колени. Сквозь пелену усталости смутно различил затихающие шаги на лестнице. То были шаги мифического тролля-людоеда, отправившегося поохотиться на беспечных пастухов.

– Чур меня, чур меня! – прошептал Ли, потом сбросил кеды и закинул ноги на кровать. Опустил затылок на скрещенные руки и принялся изучать древесные узоры на потолке, постепенно знакомясь с ними заново. – Это похоже на детскую сказку для психоаналитиков. С новым поворотом. Мы видим героя в логове людоеда, но что привело его туда? Каков его мотив? Явился ль он туда, отважно сжимая в руке карающий меч правосудия, поклявшись истребить великанов, столь долго разорявших окрестности? Или же он решил принести себя в жертву этим извергам? Милое дополнение к классическому «Мальчику-с-пальчик». Элемент психологического детектива. Кто победит – Мальчик? Или Великан? А чья правда – и в чем? – *Эти люди... это место... как разрубить мне этот узел? О господи, как?*

Уже погружаясь в дрему, он будто бы услышал чье-то пение в соседней комнате, словно в ответ на его вопрос... сладкоголосые... звонкие... сочные трели дивной волшебной птицы:

Будет утром угощение, и варенье, и печенье,
И лошадки всех цветов...

Во сне лицо его блаженно расплывается, черты смягчились. И песня прохладным ручьем орошает его иссушенный рассудок.

В серых яблоках каурки и буланки-сивки-бурки,
Все лошадки всех цветов!

Песня расходится кругами, отдается эхом. За окном на телефонных проводах переругиваются зимородки. В городе, в «Коряге», граждане вновь задаются вопросом, что стряслось с Флойдом Ивенрайтом. В своей хибаре на плесе Индианка Дженни пишет письмо издателям «Классических комиксов». Интересуется, не думают ли они выпустить тибетскую Книгу мертвых с картинками? В горах над Южной Вилкой старый драный алкаш подходит к краю обрыва и посылает над пропастью свой крик – просто чтоб услышать в ответ человеческий голос. Мозгляк Стоукс встает из-за стола после ужина с намерением доковылять до своей лавки и пересчитать консервы. Хэнк, оставив Ли в его комнате, направляется было к лестнице, но, заслышав пение Вив, возвращается, деликатно барабанит пальцами в ее дверь:

– Ты готова, дорогуша? Ты ведь туда к семи собиралась?

Дверь открывается, Вив выходит, на ходу застегивая белый плащ:

– Чей это голос я сейчас слышала?

– Это Малыш, дорогуша. Это он. Приехал-таки. Что скажешь на это?

– Твой брат? Поздороваться бы с ним надо... – Она устремляется к комнате Ли, но Хэнк придерживает ее за локоть.

– Не сейчас, – шепчет он. – Он, по-моему, вкрай утомился. Лучше пока оставить его в покое. – Они прошли к лестнице, спускаются. – Увидишь его, когда вернешься из города. Или завтра. А сейчас и так опоздала маленько... Что так подзадержалась-то, кстати?

– О Хэнк... Не знаю даже. Просто не знаю, стоит ли мне туда идти...

– Ну, при таком раскладе, наверное, нет. Тебя туда как бы никто силком не гонит.

– Но Элизабет меня особо пригласила...

– Тоже цаца! Элизабет Прингл, дочь старого сморчка Прингла...

– Она... Все они так нешуточно разобиделись на меня в первую встречу. Ну, когда я отказалась играть с ними в слова. *Другие* дамы тоже не играли – так никто и внимания не обратил. Но я-то что такого досадного сказала?

– Ты сказала «нет». А для некоторых это всегда досадно.

– Догадываюсь... Вообще-то, признаться, я в самом деле не лезла из кожи вон, чтоб поразить их дружелюбием.

– А они? Они хоть раз тебя тут навестили? Я тебя предупреждал перед женитьбой, что не стоит рассчитывать на победу в конкурсе популярности. Дорогая, ты – жена признанного головореза. Само собой, у них некоторое предубеждение против тебя.

– Да не в этом дело. Не *только* в этом... – Она замолчала на секунду, глядя в зеркало, что висело у лестницы внизу. – Порой кажется, будто они пытаются меня виноватой сделать. Будто завидуют, или что-то вроде...

Хэнк отпустил ее руку, идет к двери.

– Нет, милая, – говорит он, изучая текстуру дверного косяка. – Просто ты слишком добрая душа. Потому тебя и клюют. – Он улыбается, что-то припоминая. – Да уж. Но видела б ты Майру, маму Ли. Вот у кого поучиться разносу этого курятника!

– Но, Хэнк, я бы хотела дружить с ними... с некоторыми по крайней мере.

– Чесслово, – вспоминает он с нежностью, – она-то уж умела им укорот дать, овцам этим. Ладно, потопали!

Вив спускается за ним по ступенькам крыльца, решив на этот раз быть не такой доброй душой и пытаясь вспомнить: неужто и дома, в Колорадо, заведение подруг требовало таких усилий? Всего несколько лет назад... «Неужто я так изменилась за эти-то годы?»

На севере, на шоссе, ведущем в Портленд, Флойд Ивенрайт возится на обочине, меняет колесо. Двух месяцев не отъездил скат – и на тебе: лопнул, черт-их-всех-побери! Всякий раз, когда баллонник соскакивает в темноте, сдирая очередной лоскуток кожи с костяшек, Флойд хватается за предательски ослабший живот и вновь перебирает внушительные четки из эпитетов, которыми успел наградить Хэнка Стэмпера с момента фиаско в его доме: «*херососущий, жополизучий, дерьмоедствующий*» – в удивительно методичной, ритмичной, псалмовой манере, все более тяготеющей к благоговейной.

А Джонатан Дрэггер, в мотеле в Юджине, пробегает пальцем по списку лиц, с которыми надо повидаться, всего насчитывает двенадцать, двенадцать встреч, перед тем как он продолжит свой путь в Ваконду, чтоб поговорить с этим... – он сверяется со списком – с этим Хэнком Стэмпером, которого следует вразумить, и... тринадцать встреч, несчастливое число... и потом уж можно всласть помечтать о возвращении домой. Ох уж эта доля бродяжьи! Закрывает свой блокнот, зевает, ищет тюбик десенекса.

А Хэнк, переправив Вив и усадив ее в джип, возвращается и слышит оклик Джо Бена с крыльца:

– Скорей выручай меня! Старику ухвертка под гипс заползла – так он уж за молоток взялся!

– Не худшая из моих тревог, – бормочет Хэнк с усмешкой, торопливо швартуя моторку.

А в Ваконде на Главной улице, в светлой конторе, доставшейся новому владельцу после того, как прежний отказался выкупать закладную, Главный по Недвижимости мистер Хотвайр вырезает на коленях очередную фигурку из белой сосны и томится черными думами. Особенная головная боль – ваяние голов, ибо, если над головами фигурок не морочиться, лица все, как одно, выходят этакими карикатурами на некоего генерала, впоследствии президента²⁵. В войну Хотвайр служил в Европе, заведовал кухней и приобрел кое-какую репутацию бравого добытчика провианта. Там он и повстречался с этим человеком, сделавшимся кошмаром последующих двадцати лет его жизни. Как-то раз этот самый генерал, со всей своей свитой из адъютантов, заместителей и задоподтирателей, закатился в их лагерь с инспекцией. Генерал изъявил желание оттрапезничать по-солдатски с личным составом и, к великой своей радости, открыл для себя кулинарные и снабженческие таланты одного отдельно взятого бравого добытчика провианта одной отдельно взятой столовой. В полдень генерал и его свора гуськом вошли в эту столовую. Генерал высоко оценил аромат стряпни бравого добытчика, поставил в пример санитарное состояние кухни, но несколькими минутами позже вдруг пожаловался на некий чужеродный предмет в своей тарелке с супом из бычьих хвостов. Предмет оказался германским офицерским перстнем, который Хотвайр купил у одного пехотинца, с тем чтоб отправить домой отцу. Увидев это, Хотвайр окаменел. Он не то что не посмел предъявить права на безделушку, но божился, что никогда раньше в глаза-то ее не видел, и с пылом бросился *уверять*, хотя никто и не выражал сомнений на сей счет, что хрящик, приправленный злосчастным перстнем, – это хрящ *именно* бычьего хвоста. По выражению генеральского лица он понял, что допустил ошибку, но слово уже вылетело. И всю оставшуюся войну он был снедаем липким страхом перед топором (который так и не упал), а к демобилизации выродился в жалкую запуганную личность. В чем же дело? Он был так уверен в неминуемой репрессалии... И он не понимал, что удерживало на весу ужасный топор все эти годы, до того момента, как

²⁵ Имеется в виду Дуайт Дэвид («Айк») Эйзенхауэр (1890–1969) – 34-й президент США (1953–1961), во время Второй мировой войны сначала командовал вооруженными силами США в Европе, а затем был Верховным главнокомандующим союзных сил в Европе.

генерал составил зловещий, мстительный план по выдвижению себя в президенты и со всем коварством его осуществил. Теперь-то, *теперь-то* возмездие грянет! И грянуло. Экономический спад. Его ресторанный бизнес, бутон, только-только набравший сок, зачах, так и не распустившись. В глубине души он знал, что эта финансовая засуха, насланная на всю невинную нацию, в действительности преследовала лишь одну-единственную цель: погубить, подточить пивные корни его раздаточных кранов. И бог бы с ним, с его бизнесом, но *целый народ!* Ему-то за что такие страдания? Он поневоле чувствовал, что есть и его доля вины в национальной драме. Если бы не он, этого бы никогда не случилось. И какие еще напасти уготовило грядущее?

Еще худшие. В эти восемь лет тирании генерала он выжил лишь милостью Божьей да рукоделием супруги. И только сейчас научился раскрывать утреннюю газету без боязни прочитать там объявление его врагом народа, подлежащим расстрелу на месте. Только сейчас он узрел хоть какой-то свет в конце тоннеля... а тут – этот гнусный удар в спину, эта чертова забастовка. Забастовка? Не есть ли и она дело рук этого старого?.. Нет. Не может быть, решает он. Это кто-то еще строит против него козни, кто-то новый, вот и все. Он уныло скребет резакom деревянную фигурку, с ожесточением скрежещет зубами, вонзенными в глотку старых воспоминаний... Этот сукин сын мог бы хоть колечко вернуть!

А за городом, под серебряным лезвием луны, размеренно шевелится лесистая гряда, будто штабель бревен под безжалостным, безмолвным и сияющим диском пилорамы. За зданием фермерской ассоциации дикий плющ ищет опору цепкими слепыми пальцами. Мирно гниют доски построек консервного завода. Соленый ветер с океана выдувает жизнь из поршней, шестеренок, проводов, трансмиссии... Из дверей «Коряги» появляется маленькая, пухленькая, будто плюшевая пышечка, семенит по тротуару Главной улицы мелкими, сердитыми шажками. Вечерний туман капельками повисает на ее ресницах, уличные огни индевеют в ее черных кудрях. В бешенстве она проходит мимо знакомцев, не глядя по сторонам. Ее округлые, сдобные плечики передернуты негодованием. Ее ротик – суровая клякса малинового варенья. Она хранит эту гримасу разъяренной нравственности, пока не скрывается от Главной улицы за углом Шейхелем-стрит. Там она останавливается у своего легкового «студебеккера» и дает наконец выход гневу:

– У-у-у! – С протяжным вздохом и звуком, напоминающим кремовой шлепок торта о физиономию, она оседает на блестящее росинками крыло машины...

Ее зовут Симона, она француженка. В сорок пятом вышла замуж за десантника и переехала в Орегон, будто сойдя со страниц Мопассана. Она не видела супруга с тех пор, как он семь лет назад десантировался из ее жизни, на прощанье не крикнув даже «ура!», оставив заложенную машину, стиральную машину с непогашенным кредитом и пятерых детей, за которых до сих пор не рассчитались с роддомом. Немного опечаленная мужской ненадежностью, она все же сумела удержаться на поверхности благодаря природной плавучести и аппетитности своего округлого тела, которое без предрассудков укладывала под одно одеяло с тем или иным лесорубом-меценатом. Не корысти ради, конечно, – она была благочестивой католичкой и убежденной аматеркой, – но исключительно по любви, и только по любви; однако не отказываться же от добровольных пожертвований богу любви, в пределах разумного? И столь обволаживающей была эта сладкая пышка горькой судьбы, и столь сознательны были ее благодетели, что через семь лет стиральная машина была оплачена вчистую, автомобиль оплачен почти, а дети избавлены от необходимости каждый божий месяц объяснять бухгалтерии роддома, почему не могут родиться обратно. И почему-то, несмотря на все ее успехи, никому из городских обывателей, даже не из числа ее клиентуры, не приходило в голову счесть подобный ее промысел хоть немного предосудительным. Вопреки расхожим слухам, маленькие городки не столь уж подвержены мании первыми бросать камень. Вдруг хорошего человека покалечишь?

В маленьких городках здравый смысл зачастую перевешивает соображения нравственности. Женщины Ваконды говорили:

– Симона – лапушка каких поискать, и плевать, что иностранка. – Потому что в борделях Куз-Бея брали по десять долларов за раз, по двадцать пять за ночь.

А мужчины отзывались так:

– Симона – хорошая, чистая девочка. – Потому что Куз-Бей славился самым чесоточным и шанкротным мужским населением во всем штате.

– Может, она и не святая, – признавали женщины, – но уж точно не Индианка Дженни!

Так и жила Симона, во грехе, да не в обиде. Когда же раздавались голоса осуждения, мужчины и женщины единой стеной вставали на ее защиту.

– Она чудесная мать! – говорили женщины.

– Она попала в неслабую передрагу, – говорили мужчины, – и лично я всегда готов посодействовать ей в беде.

И содействовали – истово и регулярно. Движимые одною лишь филантропией. Официально же она добывала средства к существованию, работая кухаркой по вызову. Что ж, это *ни для кого* не было секретом. И в дневное время этой пухленькой маленькой женщине и в голову не приходило задумываться о том, что знали все.

Она пила пиво с Хови Эвансом, бригадиром из «Тихоокеанского леса», носившим на цепочке собственный позвонок, удаленный в больнице после неудачного падения. То ли отсутствие этого позвонка в положенном месте, то ли его тяжесть на шее – но что-то крючило его осанку так, что она повергала в ужас жену, внушала отвращение теще и вызывала прилив материнской жалости в Симоне. Они светски общались весь вечер, толкаясь коленками под столом, а когда было выпито положенное количество пива, она заметила, что уже поздно. Хови помог ей надеть пальто, мимоходом обронив, что надо бы заглянуть в логово к братцу и узнать, не поможет ли тот достойно закруглить вечер. Симона знала, что брат Хови отбывал от одного до восьми лет в Вакавилле за подделку чеков; она ждала развития мысли, счастливо улыбаясь, представляя, как попробует изгладить из тела несчастного Хови его сутулость в логове его брата, но в отсутствие оного. Она смотрела на него неотрывно, облизывая губы, но едва суть стала всплывать на поверхность – «И я вот подумал, Симона... то есть, если у тебя нет каких-то особых планов...» – он вдруг запнулся.

Хови попятился.

– Знаешь, Симона, – сказал он после секундной паузы, хихикая и потрясая головой, в которой забрезжило некое недоумение. – Знаешь, я хотел у тебя спросить, как бы тебе глянулась идея... – Он снова запнулся. – Уф! Ладно. Черт. Ты подумай. Я ж никогда раньше таких фантазиев себе не помышлеывал...

Она нахмурилась, а он, дробно потрясая озадаченной головой, хихикал над чем-то таким, о чем прежде «не помышлеывал». Пожал плечами и протянул вперед обе свои лапы, вверх ладонями, дубленными тяжким трудом, словно демонстрируя, до чего они пусты. Он продолжал нервно хихикать и мотать головой:

– Я на мели, Симона, цыпочка... вот в чем дело-то. Без гроша. Эта хренова забастовка. А за дом – плати, за все – плати... А я уже столько без работы торчу... Ясный пень, у меня самого-одного просто денег нет на это.

– Денег? Каких денег? На что денег?

– На тебя, цыпочка. На тебя нету у меня денег.

Она мигом взорвалась упругой, скандальной яростью. И, декорировав его щеку красным оттиском своей пятерни, выскочила из бара, грохнув дверью. Нет, она-то уж точно не Индианка Дженни! И столь горяч был ее гнев, вызванный намеками Хови, что две кварты пива – сушая капля, вообще говоря, – неистово забурлили, вскипая внутри ее, и, когда она добралась до машины, потребовали выхода наружу.

Обессиленная рвотой – согбенная, опираясь пухлой детской ладошкой о машину, что через месяц будет ее полноправной собственностью, Симона вдруг осознала с ясностью пронзительной и нестерпимой, как откровение Хови только что, – осознала истину, столь долго отрицаемую.

– Никогда, никогда и никогда больше! – поклялась она вслух, на всю улицу, рыдая от страшного стыда. – Никогда больше, клянусь Святой Девой! – Она взбивала тесто своей памяти в судорожных поисках самого виновного, самого ненавистного. Первым делом подумала о своем бывшем муже. – Дезертир! Бессовестный предатель! – Но был он и слишком ничтожен, и слишком недостижим для удовлетворительного проклятия. Должен быть кто-то еще, ближе, сильнее, значительнее – годящийся для начинки пирога ее ненависти, что выпекался в маленьком очаге ее сердца...

Перст указывает. Ивенрайт проклинает. Дрэгер спит. Главный по Недвижимости кромсает резакон белую сосну, изучает фигурку, вполголоса отрешенно мурлычет под шорох белой стружки. Через улицу его зять закрывает тощий гроссбух и уныло плетется к питьевому фонтанчику в фойе, чтоб смыть красные чернила со своих изможденных отбеливателем рук. Дженни, дыша изморозью на луну, кладет еще трех крохотных древесных лягушат в замшевую суму. Всякий раз, извлекая полузамерзших тварей из-под коряги или из-под камня, она бормочет слова из «Классических комиксов», запавшие в память в тот день, когда она умыкнула эту книгу из аптеки, пока хозяин Гриссом ходил в магазин за кока-колой.

– Труд и пот – в оборот! – Лягушка шевелится в пальцах, Дженни чувствует, как учащается пульс. – Жар огня и стужи лед. – (Впоследствии она сварила свою добычу с лавровыми листьями, собранными также на местности, и употребила внутрь с маслом и лимоном.)

Вдали в дюнах, под сенью крон корабельных сосен сквозь залежи хвои проклевывается мухомор, будто некое исчадие ада просачивается в этот мир. На заливных лугах преданные летом цветы из-под первого осеннего инея бросают преданные взгляды на темные звездные кущи в небе, прощально и зябко машут поникшими лепестками: паучник и синяя вербена, красоднев и ужовник, алое сердце и жемчужный бессмертник – и упырь-трава с ее цветом, пахнущим смертью. В скандинавских трущобах на краю города кровавый плющ тянет пальцы профессионального душителя, цепляясь за сучки, червоточины и оконные карнизы. Прилив истирает плавучий причал о сваи, сваи – о причал. Батареи окисляются. Кабели гниют. Ли спит, и губы его полуоткрыты, лелея гримасу ребяческого ужаса, ужаса детских снов, в которых падаешь, бежишь, спасаешься от погони, все равно падаешь, снова и снова, пока внезапно не просыпается, не вытряхивается из сна каким-то шумом, до того громким и близким, что поначалу он тоже кажется отголоском ночного кошмара, замешкавшимся в ушах. Но шум не прекращается. Проснувшись уже по-настоящему, Ли вскакивает с кровати, стоит вздрагивая, устремив взгляд в неизменно злокозненную темноту. Удивительное дело, но обстановка его не смущает: он тотчас припомнил, где находится. Он в своей старой комнате, в старом доме, что на реке Ваконда-Ауга. Но он совершенно не может вспомнить, как здесь очутился. Зачем? И когда? Некий колокол гудит в его уши изнутри, но в какой точке его бытия *разыгралась вся эта черная какофония?*

– А? А? – Его голова, оказавшаяся в эпицентре торнадо смутных образов, вертится из стороны в сторону. – Что? – Он как ребенок, разбуженный и смятенный до паники внезапным и неведомым звуком.

Только... этот звук не такой уж неведомый... И где-то я уже слышал его; это глумливое эхо чего-то давнего, что некогда было очень привычным (секундочку... сейчас вспомню)... такого, что некогда слышал очень часто. Потому этот звук так меня и переполошил: потому что я *узнал* его.

По мере того как мои глаза пообвыклись с обстановкой, я понял, что комната не так уж темна, как показалось сначала (*короткая ника света протыкает комнату, целя в пиджак*). Да

и звук – далеко не такой реактивный рев, как слышалось в первый момент (*пиджак лежит в изножье кровати, обхватив сам себя руками, будто в агонии ледящего ужаса. Короткая пика света разит из дырочки в стене, из соседней комнаты...*), и шел он не изнутри меня, а, напротив, откуда-то с улицы. Я осторожно обошел кровать, держась ее гладкого, полированного бока, затем нерешительно пересек комнату, подошел к серому светлому квадрату и поднял окно. Звук тотчас ворвался в комнату, обгоняя натиск холодного воздуха: «Вяк-вяк-вяк... *тонннгггг...* вяк-вяк-вяк». Я наклонился вперед, высунул голову в окно и узрел маслянистое сияние керосинки, болтавшейся над прибрежной дамбой. Свет тонул в густом тумане, который, казалось, только усиливал звук. Керосинка замирала на весу, мерцая, будто кусок трухлявого пня в ночи, – «Вяк-вяк-вяк», – потом скользила вперед на несколько ярдов, перед тем как снова замереть: «Тонннгггг». Я вспомнил, что когда-то перекладывал эти звуки на Пятую симфонию Бетховена: «Вяк-вяк-вяк То-онг! Ту-ту-ту-тууум!» А затем я вспомнил, что это Хэнк выходил на дамбу всякий раз перед сном, пробирался по склизким мосткам с молотком и лампой, обстукивал доски и тросы, на слух выявляя, не дрогнула ли где крепежка под постоянным напором реки, не проржавел ли какой кабель...

То был еженощный обряд, припомнил я, – этот ритуальный обход береговых укреплений. Облегчение и ностальгия захлестнули меня, и впервые с того момента, как нога моя ступила в этот дряхлый, старый дом, я нашел хоть какой-то из его многочисленных шумов приятным и тешащим слух. (*Он поворачивается, скользит взглядом по стене, к соседнему окну...*) Этот звук всколыхнул во мне красочную метель стародавших смешных фантазий – не из разряда тех ночных кошмаров, что ассоциировались с ревом Гренделей-трелевщиков, но фантазий куда более управляемого свойства. По ночам я часто воображал, будто заточен в некую адскую тюрьму за деяния, которых не совершал. А братец Хэнк – старый верный тюремщик, что совершает еженощный обход, проверяет решетки на прочность своим молоточком-камертоном, как это делали в триллерах с Джимми Кэгни²⁶. Тушить свет! Тушить свет! В сводах отдается лязг автоматических ворот. Сирена возвещает комендантский час. А я, затаившись под столом в свете запретной свечи, вынашивал хитрые планы побега из тюрьмы, с проносом «томпсонов», расчетом времени по долям секунды и распределением ролей между надежными друзьями с кличками вроде Джонни Волк, Большой Луи или Ствол. И все они разом поднимались по моему кодовому стуку по водопроводной трубе: Час Икс. Темный двор наполнялся грохотом бегущих ног. Прожектора! Вой сирен! На стенах мелькают плоские, двухмерные фигурки в синих фуражках, автоматы трещат над рукопашной свалкой, громоздятся трупы. Арестанты отступают в панике. Побег сорвался. То есть так кажется непосвященному глазу. Но это лишь уловка. Волк, Большой Луи и Ствол принесены в жертву, чтоб отвлечь внимание своей ложной атакой во дворе, а мы – я и мама – в это время бежим на свободу по тоннелю под рекой.

Я посмеялся над этой остросюжетной драмой и тем фантазером, что ее сочинил (*он снова вытягивает голову в комнату – «Конечно, тоннель под рекой, путь к свободе», – прочь из прохладной, пропитанной сосновым дымом ночи в теплый дух нафталина и мышей...*), и принялся осматривать комнату, чая найти еще какие-нибудь воспоминания об этом маленьком драматурге и его творчестве. (*Окно он закрыть не смог: заело. Бросив безуспешные попытки, возвращается к кровати, садится...*) Но в комнате я не нашел ничего, кроме коробки древних комиксов под окном. (*Он съедает холодную отбивную и одну грушу, глядит прямо перед собой, в распахнутое по-прежнему окно. До него доносится запах горелой сосны, холодный и темный...*) Я посидел на кровати, размышляя, что делать дальше, перелистывая черно-белые приключения Пластикмена, Супермена, Аквамена, Хокмена и, конечно, бравого Капитана Марвела²⁷. Там, в коробке, этих Чудо-Капитанов было больше, чем всех прочих чудес в

²⁶ Джеймс Кэгни (1899–1986) – голливудская кинозвезда в амплуа «крутой парень».

²⁷ Персонажи одноименных комиксов. Пластикмен – персонаж Джека Коула (с 1941 г.); стал совершенно гуттаперчевым

ассортименте. *(Он ставит тарелку на пол, берет пиджак с кровати, подается вперед, чтоб положить его на стул; когда же распрямляется – тот пучок света, которого он так старательно избегал, ловит его прямо за лицо...)* Мой единственный и неповторимый великий герой, Капитан Марвел. Он по-прежнему на две головы выше всяких там замешкавшихся с раскруткой дилетантов, вроде Гамлета и Гомера *(свет удерживает его – «Я вообразил себе, как злой сэр Мордред из кожи вон лезет, чтоб заманить в ловушку хитроумного разорителя своего замка, доблестного сэра Лиланда Стэнфордского, которому ведом каждый потаенный проход, знаком каждый коварный камень от шпиля самой высокой башни до самых глубин сырого подполья», – бьет в лицо, припиливает, пронзает, будто какую-нибудь сценическую иллюзию, создаваемую скрытыми зеркалами...)*, и он по сей день мой самый любимый из всех и многих супергероев. Потому что Капитан Марвел не всегда был Капитаном Марвелом. Отнюдь. Во время, свободное от феерических полетов и надирания задниц всяким супер-гадам, он был пареньком лет десяти-двенадцати, тщедушным засранцем и неудачником – но умел превращаться, под раскаты громов и вспышки молний, в монстра с могучей челюстью, способного практически на все. *(Он сидит очень долго, глядя на свет, что вырывается из дыры в стене. Стук за окном отдается в голове мерным подсознательным ритмом заклинания вуду... «Я когда-то умел неслышно прокрасться к потрескивающим во мраке электродам, замкнуть цепь и исполнить симфонию заветных рубильников, приводящую в действие неумолимых стальных големов». Вся же остальная комната, объятая полумраком, колеблется где-то на окраинах его поля зрения...)* А все, что требовалось этому парню для его чудесной трансформации, – молвить волшебное слово: Сизам. С – Соломон и мудрость. И – Икар и крылья. Ну и так далее: Зевс, Атлант и Меркурий²⁸.

– Сизам, – произнес я негромко в этой холодной комнате, улыбаясь сам себе и думая: а может, *не* Капитан Марвел был моим героем, но Билли Бэтсон с его магическим словом? И я все искал *свое* заветное слово, *свою* волшебную фразу, которая немедленно наделила бы меня чудесной силой и неуязвимостью... *(Наконец остальная комната исчезает совершенно. Лишь эта яркая дыра, подобная сверхновой звезде, разбухшей светом на черном небосклоне, – «Я ткал персидские ковры из эфемерного эфира следов Человека-невидимки...»)* Однако не ищу ли я это слово и по сей день? Мое волшебное слово? *(Свет манит его, поднимает с кровати...)*

Блажь сия меня заинтересовала, я решил изучить всю страницу повнимательней, поняв, откуда исходит свет, озаряющий мою книгу: из дыры в стене. Из той самой забытой дыры, через которую некогда я, прильнув к ней глазом, постигал суровую и сермяжную правду жизни. Через дыру в комнату моей матери. *(Он медленно скользит носками по полу. «Я был меньше ростом». Пятнышко света прыгает с глаза на рот и сползает ниже по шее – «Тогда, в десять лет, когда меня, мальчика во фланелевой пижамке, разбудили оборотни в соседней комнате, – тогда я был значительно ниже», – сползает на грудь, становится все меньше и меньше. Когда же он достигает стены – превращается в серебряную монетку в его кармане...)*

Я уставился в эту светлую точку. Я был поражен, что Хэнк до сих пор не заделал эту дырку, и в секундном помутнении рассудка даже вообразил, будто он специально *устроил* все так, чтоб я снова заглянул в нее: как обустроил и эту комнату к моему возвращению. А может быть, он и соседнюю комнату *тоже* привел в соответствующий вид, специально для меня? *(Он проводит пальцем по краям светящегося отверстия, чувствует зарубки, сделанные кухонным*

после того, как, участвуя в ограблении химического завода, подвергся действию химикатов; затем стал борцом с преступностью. *Супермен* – персонаж Джерри Сигела и Джо Шустера (с 1938 г.), инопланетянин с планеты Криптон, обладающий сверхчеловеческой силой и способностью летать. *Аквамен* – персонаж Морта Вайзингера и Пола Норриса, способный жить под водой и телепатически общаться с морской живностью. *Хокмен* – персонаж Гарднера Фокса, коллекционер древнего оружия, крылатое перевоплощение древнеегипетского принца Кнуфу и борец со злом. *Капитан Марвел* – персонаж Билла Паркера и Чарлза Кларенса Бека (1940), разносчик газет Билли Бэтсон, от могущественного волшебника получивший дар перевоплощаться в Могущественнейшего Смертного Капитана Марвела.

²⁸ Традиционно – Шазам (Shazam) или Сгазам (Соломон, Геркулес, Атлант, Зевс, Ахиллес, Меркурий).

ножом. Теперь они сгладились, будто поток света зализал эти древесные раны, – «Я знал каждую заусеницу...») Меня обуяла странная тревога. На мгновение пришлось напрячь все силы (на колени: «Тогда я...»), чтобы заставить себя заглянуть в эту дырку (колени преклоненный и содрогающийся от холода: «Тогда я видел ужасное...»), чтобы получить подтверждение наивности собственных страхов («...видел ужасное, ах!... Аааа!»). Но одного взгляда оказалось достаточно. Я вздохнул с облегчением и вернулся к кровати, к груше с печенюшками. Я бодро поглощал остатки снеди, без разбору, досадуя на свои глупые душевные трепыхания и напоминая себе, что, по счастью, время ни для кого не делает остановки, даже для шизофреников с галлюцинаторно-бредовой симптоматикой...

Потому что в той комнате ровным счетом ничего не напоминало о матери.

Я довольно долго сидел на кровати в нерешительности, порядком вымотанный: долгая дорога; лихорадочная, ошеломляющая встреча внизу; теперь – эта комната. Но все же не настолько я был вымотан, чтоб отлучить от себя жгучее любопытство: мне отчаянно хотелось снова заглянуть в эту комнату, жилище новой хозяйки старого дома. (Он подтаскивает к стене стул для лучшего комфорта своего шпионажа. Но оказывается, что сидя он не достает до дыры, поэтому он приставляет стул спинкой к стене и забирается на сиденье коленями – оптимальный вариант. Куснув грушу, он прикладывает глаз к отверстию...)

В комнате не осталось ничего из гарнитура моей матери, как не осталось ни ее картин, ни занавесок, ни вышитых подушек. Не было и фасетчатых пузырьков с парфюмом, когда-то плотной шеренгой стоявших на ее тумбочке (огромные бриллианты, исполненные золотисто-янтарных любовных зелий), исчезла и просторная кровать с ажурной медной спинкой, что величественно вздымалась над матерью (трубы карикатурного органа, настроенные на мелодию страсти). И стулья (обитые томной розовой вискозой), и туалетный столик (на который ниспадали ее черные локоны, когда она расчесывала их перед зеркалом), и полк чучел зверушек (академически выверенных окрасов и с глазами-пуговицами, глядевшими так, будто высматривают шпионов из-за линии фронта...) – все исчезло. Даже стены имели другой вид – зыбкая, воздушная лазурь сменилась ослепительной белизной. Ничего не осталось от ее прежней комнаты... (И все же, взглядываясь, он не может отделаться от ощущения, что некая часть духа матери по-прежнему витает в этой комнате. «Похоже, осталось все же нечто, нечто такое, что вызывает к памяти о прежнем убранстве. Как давеча стук молотка пробудил память о детских ночах». И он разглядывает всю комнатушку, силясь отыскать этот самый затаявшийся обрывок ностальгии.)

Теперь, когда я отделался от своего дурацкого страха перед этим параллелепипедом по соседству, мне захотелось разузнать побольше о его обитательнице. Комната была убрана просто, скупое, почти полная простота и пустота. Но это была хорошо продуманная пустота, как в японских гравюрах. Прямая противоположность мамашиным рюшечкам и шифону. На столе – швейная машинка да лампа; да высокая черная ваза с багряными и золотыми кленовыми листьями – на маленьком столике у дивана. И сам диван – скорее просто топчан, сооруженный из старой двери на незатейливых стальных стойках и покрытый матрасом. Сотни подобных самодельных лежаков можно наблюдать в квартирах Деревни, но они всегда казались мне скорее элементами этакой нарочитой, показной бедности, без стремления к простоте и функциональности в чистом виде, как здесь.

У стола со швейной машинкой стоял стул с жесткой спинкой. Книжный шкаф, сколоченный из брусков и досок, выкрашенный в светло-серый, представлял разношерстное собрание коленкорových и бумажных переплетов. Пол отчасти покрыт ярким вязаным ковром. Помимо этого ковра и вазы с листьями, единственными украшениями жилища служили деревянный, судя по всему, арбуз на книжном шкафу и здоровенная затейливая коряга, простирившаяся вдоль моей стены за пределы обзора.

(Эта комната больше смахивает на берлогу, думает он; некое пристанище, где кто-то – женского пола, конечно... хотя он не в силах найти в обстановке хоть сколько-нибудь веские доказательства женственности обитательницы, – уединяется, чтобы читать, шить, да и просто уединяется. Вот в чем дело. Этим-то она и напомнила мне прежнюю комнату матери – там царила та же атмосфера укрытия, приватной кельи, персональной крепости, отдохновения от сального кошмара, творящегося внизу. И здесь – то же самое, что-то вроде Волшебной Страны Над Радугой, где истомленная душа исцеляется пением синих птиц, где беда растает леденцом, над дымоходом – дым венцом... там буду ждать я...²⁹)

Я с первого же взгляда решил, что комната принадлежит «Дикой Орхидее» братца Хэнка. Кто бы еще так обставил жилище? Из мужиков – никто. И уж точно не та пигалица, что я видел внизу. Остается лишь жена Хэнка. Нужно отдать чертяке должное, даже если это должное чертовски трудно представить в роли его супруги. *(Он отстраняется от дыры, сидит, упершись лбом в холодное дерево. А что удивительного в том, что жена Хэнка – дама необычная? Как раз напротив: удивительно было бы иное. Потому что уж он-то нашел свое слово, и это...)*

Так я сидел в темноте, смакуя грушу и мысли о Хэнке, о героях, о том, как-мне-отыскать-мое-заветное-слово... *(вдруг фанерное сиденье стула треснуло...)*; я услышал крик со стороны реки. *(Он провалился коленями, сложился, как перочинный нож, ударившись челюстью о спинку стула...)* Голос был женский *(то самое густое божественное контральто из его снов; он валится набок, колени скованы коварным стулом...)*, он ворвался в комнату через окно вместе с морозной дымкой. Я снова услышал его, затем – рев моторки, устремившейся через реку на этот голос. *(Лишь оказавшись на полу, он сумел высвободить ноги из ловушки стула... Поднялся, подбежал к окну...)* Через несколько минут я услышал, как моторка возвращается, и две пары ног проскрипели по помосту. Одна пара принадлежала братцу Хэнку, и был он явно чем-то взбудоражен. Они прошли прямо под моим окном...

– ...Послушай, дорогая, – этак *рехнуться* можно, если брать в голову, что там всякие саявки, вроде Долли Маккивер или ее хмыря-папаши, думают обо мне и моих делах. Да я в грош не ставлю собачье мнение этого курятника!

Другой голос, едва не плача:

– Долли Маккивер всего лишь просила, чтоб я тебе задала *вопрос*...

– Ну задала. В другой раз, как увидишь ее, так и ответь: «Я его спросила».

– Другого раза не будет. Я не выдержу – не *вынесу* всех этих шпилек и когтей. От людей, которых я... я...

– О господи боже ты мой. Ну же. Не делай из мухи слона. Все ты выдержишь. Надолго им ни пороху, ни мозгов не хватит.

– *Надолго* не хватит? Они ведь даже не *знают*.

– Что будет, когда вернется Флойд Ивенрайт? Он ведь мог сделать копию с того отчета, верно?

– Ладно, ладно...

– Ему придется рассказать людям...

– Ну и расскажет. Вообще-то, никого из наших женщин не избирали Королевой города. Но вот *они* как-то пережили это огорчение... И, солнышко, не дай бог тебе хоть сотой доли тех шпилек, которые достались, скажем, второй жене Генри или...

Я едва расслышал, что пробормотала девушка в ответ – «По-моему, мне они уже достались», – и тут хлопнула входная дверь, пришибив развитие беседы. Вскоре из соседней комнаты донеслось всхлипывание. Я ждал, затаив дыхание. Дверь закрылась, и послышался просительный шепот Хэнка:

²⁹ Цитата из песни Гарольда Арлена на стихи Э. Й. Харбурга «Над радугой» («Over the Rainbow») из сказочного мюзикла «Волшебник Страны Оз» («The Wizard of Oz», 1939) кинорежиссера Виктора Флеминга с Джуди Гарленд в главной роли.

– Прости, котенок. Пожалуйста! Меня просто взбесила эта Маккивер. Ты ни при чем. Давай ложись баиньки – утро вечера мудренее. Я поговорю с этим стариком завтра. Давай успокойся, Вив, киска моя... Прошу тебя...

Сколь можно тихо я снова улегся на кровать, накрылся. Долго лежал, не в силах уснуть под извиняющийся, усталый и отнюдь не героический шепот Хэнка в соседней комнате. *(Он закрывает глаза, чуть улыбаясь. «Я думал, что в царстве его комиксов нет равных моим героям: нет бога, кроме Капитана Марвелы, и малыши Билли – пророк его...»)* И снова мне вспомнилась давешняя хромота Хэнка на воде. Хромота и скулеж за стенкой – вот первые из свидетельств, собирая которые я попытаюсь убедить себя в том, что мужик этот далеко не так уж крут. И когда настанет время – не составит большого труда ни дотянуться до него, ни низвергнуть. *(«Я много экспериментировал. Молитвенно зажмурив глаза, я до посинения выговаривал на разные лады волшебное „Сизам“, пока не сдавался, не мирился с тем, что никому, уж тем более мне, и думать нечего совладать с этим могущественным Оранжевым Гигантом...»)* И что не так уж сложно будет на этот раз, со второй попытки *(«Я много экспериментировал...»)*, найти мое волшебное слово. *(«Но до настоящего момента мне не приходило в голову... что, быть может, не только мой „Сизам“ был неправильным, но и вообще я искал молнии не в той грозовой туче...»)* И я заснул, чая увидеть сны, где парю в небе, а не падаю камнем...

А за стеной, одна в своей комнате, Вив размышляет, расчесывая волосы на сон грядущий: может, стоило сказать что-нибудь Хэнку, перед тем как он унесся вихрем из ее комнаты? Что-то такое, чтоб он понял: *на самом деле* ей не важно, что говорит Долли Маккивер – и ее прыщавый старик... но... *Почему он не может хоть раз поставить себя на мое место?* Но тотчас укоряет сама себя в эгоизме и тянется к выключателю.

В Ваконде Главный по Недвижимости завершает фигурку, ставит ее рядом с прочими: что ж, на *этот* раз она не похожа на того генерала ни капельки. И все же *есть* в ней что-то очень знакомое, нелепо знакомое, *пугающе* знакомое – и рукоятка резца покрывается потом в его ладони.

А в Портленде Флойд Ивенрайт обращает свою заматеревшую ругань на профсоюзного лодыря, который не удосужился снять копию с отчета, а составление нового займет недели две, не меньше, так как завтра он ложится в больницу удалять грыжу... Проклятый *гаденыйш*!

А Симона засыпает перед изваянием Богородицы, озаренным свечкой, – засыпает в убежденности, что деревянная фигурка верит в чистоту Симоны, но сама она, как никогда, запуталась в собственных сомнениях. А Дженни встает с кровати с резью в желудке, швыряет останки вареных лесных лягушек в чан с помоями и палит в печке иллюстрированное издание «Макбета». А старый дранщик одухотворился портвейном и ором через реку и начинает забывать, что эхо, которое его зовет, – его собственный голос. А плющ и прилив тянутся вверх; и плесень крадется по дерюжному половичку в прихожей, где Хэнк оставил мокрые следы; и река, серебристая хищница, блуждает по полям в поисках новой поживы.

Чтобы что-то знать, приходится доверять своему знанию, во всей его полноте и вне зависимости от того, куда это знание заведет. Когда-то у меня была ручная белка по имени Омар. Она обитала в упругих и потаенных недрах нашей зеленой оттоманки. Омар знал свою оттоманку, Изнутри чувял, когда я Снаружи лишь готовился на нее присесть, и верил своему знанию в достаточной мере для того, чтоб не позволить моему неведению его раздавить. Он прекрасно жил до тех пор, пока оттоманку не накрыли красным пледом, просто чтоб замаскировать ее обветшалую Наружность. И это так смутило Омара, что он утратил свою веру в знание Нутра. Вместо того чтоб попробовать включить новый плед в свою картину мира, он переселился в дождевой сток за домом и утонул в первый же осенний ливень, вероятно

продолжая при этом пенять на новое покрывало: черт бы побрал этот мир, не желающий оставаться неизменным! Черт его побери!

О жене Хэнка завсегдатаи кафетерия при профсоюзном собрании, а также гуляки в «Коряге» знали следующее:

– Она не из нашего штата. Читает книжки, но не такая расфуфыренная столичная штучка, как вторая жена Генри была. И она сильно милая, на мой взгляд.

– Может, и так, но...

– Да зануда она та еще. И тощая, что молодая сосенка. Но я бы не стал сгонять ее со своей простыни.

– Ну нет, конечно. Я бы тоже не стал, но...

– Славная она девочка, эта Вив. И всегда здороваётся по-доброму при встрече...

– Да это-то все я знаю, но... есть в ней что-то необычное, согласны?

– Что ж, черт, не забывайте, где она живет. Как вообще любая женщина может выжить в этом гадюшнике – вот загадка гробницы фараона. И через это она не может не заскучать немного...

– Да я не об этом. Я хочу сказать... вот, к примеру, почему Хэнк ни разу не брал ее в город?

– Да по той же причине, по какой *никто* не таскается на люди со своей благоверной, Мел, дубина! Потому что она вечно будет дергать за рукав, не давая и самую малость разгуляться. А у Хэнка – у него крылышек за спиной не наблюдается. Помнишь, как он ездил на пляж с Энн Мэй Гриссом или с Барбарой, официанткой из «Ячатов», и со всеми прочими девчушками из пивнушек, от А до Я, которые так и вешались на него с его драндулетом?

– То-то и оно, Мел. А может, ей и самой не очень-то приятно бывать в городе, слушать о себе всякие сплетни. Вот он и держит ее дома – в тесноте, да не в обиде, как говорится...

– Да, но я о том и толкую: какая еще баба вынесет вокруг себя такой бедлам? Говорю тебе, есть в ней *что-то* очень *нетривиальное*...

– Может, и так, но – триви... не триви... или еще какое – а из койки я бы все равно ее не погнал.

И на том обсуждение этого «нетривиального» затухает.

Они знают о Вив еще много такого, о чем никогда не говорят, словно боятся, что если хотя бы заметить необычайную плавность походки, или же проворное изящество тонких ручек, или белизну шеи, или букеты из листьев, которыми девушка украшает блузку, – это будет уже нечто большее, нежели простое любопытство. Вот разговоры о девятикратной груди Симоны частенько слышишь перед профсоюзным офисом, как и жаркие дебаты о том, сколько футов прочной веревки понадобится отважному исследователю, чтобы спуститься в пещеру Индианки Дженни. По сути, анатомия любой местной женщины являлась мишенью для диспутов – но только не Вив. Когда же речь заходила о ней, мужики вели себя так, будто разом подослепли и замечают лишь самые общие свойства: милая девочка... дружелюбная... худовата малость, ну так чем мяско ближе к косточкам, тем слаще, как говорится. Как будто и нет в ней никакой прочей конкретики. Как будто самим умолчанием они категорически отрицали свое видение деталей.

Вив была родом из Колорадо, из жаркого, степного, паленного солнцем городка, где в черных трещинах глины прятались скорпионы, а клубы перекасти-поля осаждали изгороди, дышавшие пылью от снующих мимо фургонов для скота. Городок тот звался Рокки-Форд, и на белой арке, нависавшей над однокорейкой и державшей на себе зеленый деревянный арбуз, была запечатлена слава города: «Арбузная Столица Мира». Ныне арка эта обвалилась, но в тот далекий июль, когда Хэнк заехал на «харлее», купленном на увольнительные из армии, по дороге из Нью-Йорка (весьма зигзагообразной дороге, через Коннектикут), эта надпись и деревянный

арбуз красовались во всем своем зеленом великолепии, сверкали на сернистом солнце, а кленчатое полотнище возвещало: «Ежегодная Арбузная Ярмарка. Арбуз – на любой вкус. БЕСПЛАТНО!!!»

«Трудно устоять перед таким предложением», – добродушно подумал Хэнк и сбросил обороты, чтоб не вмазаться в толпу, запрудившую улицы: куда глаз ни кинь – повсюду цветастые рубашки, мешковатые штаны, линялые сомбреро и пыльные синие комбинезоны. Он окликнул первое же печенное колорадским солнцем лицо, обратившееся на треск его мотоцикла:

– Эй, бать, где тут арбузы бесплатные раздают?

Вопрос вызвал непредвиденную реакцию. Печеное лицо раскололось узором морщин, будто глинистая короста на месте лужи, высохшей на неумолимом солнце.

– Конечно! – изрыгнул его рот. – Конечно! Для того я в поте лица и задницы своей и растил арбузы, чтоб отдать их первому встречному-поперечному засранцу! – Лицо его окончательно раскололось яростью, а голос осип, перешел в злой ржавый писк, будто водяная помпа, насосавшаяся грязи.

Хэнк покатил дальше, предоставив старику самому разбираться с жилами, опасно вздувшимися на его красной крестьянской шее.

«Наверное, будет лучше, – подумал Хэнк, – спросить не фермера, а горожанина или туриста какого-нибудь... а этих чертей полевых лучше не трогать. Им бесплатные раздачи поперек горла».

Он неспешно потарахтел по главной улице, пестревшей красными и белыми флагами и растяжками, извещавшими о родео. Теперь, когда он сбросил скорость, на лоб накатил обильный пот. *Это колокол Хэнка*. Он наслаждался этой мотоциклетной прогулкой в июльский полдень, распахнув рубашку навстречу ласковой прохладе ветра. Это удовольствие не портили даже гадкие мальчишки, бросающие хлопущие под колеса, чтоб посмотреть, как байк вздыбится в испуге. Ему нравилось ловить взгляды людей, снующих по обочинам с приколотыми к нагрудному карману яркими сатиновыми ленточками, на которых болтались крошечные деревянные арбузики. Нравились ему и капризные карапузы, перемазанные горчицей, носившиеся с полосатыми, как арбуз, воздушными шарами, привязанными к длинным палкам. И знойные женщины, отдохавшие от жары в своих пикапах, обмахиваясь номерами «Сторожевой башни»³⁰, и горы арбузов, разложенные на чистой соломе в кузовах этих пикапов, с надписями мелом по борту: «ТРИ КУСКА ЗА ДОЛЛАР, ЧЕТВЕРТЫЙ БЕСПЛАТНО». Ему нравилась эта пора. Его пояс распирала почти тысяча долларов, оставшихся от увольнительных, и он был счастлив высвободиться из ломающих кости цепких объятий вооруженных сил США, да еще остаться с тысячей долларов, что сейчас прели на его животе, да с новехоньким подержанным мотоциклом между ног, да целой страной, которую можно исколесить как пожелаешь. Да, звонил колокол Хэнка... И все же – все же, несмотря на эти мириады радостей, окружавших его, никогда в жизни Хэнк не был более несчастлив и менее способен объяснить почему.

Потому что, несмотря на все эти такие приятные забавы, что-то было наперекосяк. Он не мог сказать точно, что именно, но после многих дней отрицания этого факта вынужден был нехотя признать: да, они с миром никак не могут прийти к взаимопониманию. И это обстоятельство угнетало его.

Где-то дальше по улице оркестр затрубил марш, изрядно фальшивя, и Хэнку казалось, будто эти сбивчивые литавры колотят прямо по ушам, вбивая в них свою сияющую медь. Мне тоже не помешала бы соломенная шляпа, подумал он и сдернул одну такую с головы первого подвернувшегося прохожего: размер, кажется, был что надо. Обесшляпленный бедняга уставился на обидчика с открытым ртом, но, оценив выражение лица Хэнка, тотчас вспомнил, что дома у него лежит на комодке другая шляпа, куда лучше прежней. Хэнк поставил мотоцикл у

³⁰ «Сторожевая башня» – бесплатный журнал секты «свидетели Иеговы».

шеста, на котором, поникнув в безветрии зноя, висел флаг, и зашел в бакалею взять кварту холодного пива. Он потягивал пиво, не доставая бутылку из бумажного пакета, а просто стиснув за горлышко, и шел по тротуару в направлении нестройного оркестра. Он пытался улыбнуться, но лицо его заскорузло на солнце не меньше, чем у фермеров. Да и кому это надо? Деревенщина – она всегда деревенщина, а горожане и туристы на него не смотрели: они пилились по сторонам, ища фотографов из «Лайфа», или же были озабочены петардами, что взрывали гадкие мальчишки. Все тут, подумал он, имеют вид такой значительный, будто ждут чего-то... или же огорошенный, оттого что это что-то прошло мимо них. «Или просто жара», – сказал он сам себе.

Он видел те же самые лица с теми же самыми выражениями в каждом городке и городишке от самого Нью-Йорка. «Все дело, – сказал он сам себе, – просто в жаре. И в Мировой Ситуации». И все же почему эти люди, все, кого он встречал, почему они все нервничали, суетились, будто спешили к некоему смутному, но великому событию, в вероятность наступления которого, впрочем, в глубине души не верили? Либо же имели такие потерянные физиономии, будто это событие только что ускользнуло у них из-под носа? Их настороженная многозначительность раздражала его. Черт возьми, да он только что вернулся из операции, которая унесла больше американских жизней, чем Первая мировая война, – и лишь затем, чтоб в любезном отечестве, ради которого рисковал собой, застать «Доджеров» в упадке, мороженые яблочные пироги, точняк как мама когда-то пекла, в каждом супермаркете, и кислую вонь повсюду. Да плюс к тому – сугубая международная озабоченность в голове у каждого из этих Простых Американских Парней, которых он только что спас от коварной коммунистической угрозы. Что, черт возьми, происходит? Во всем этом было нечто отчаянно неестественное, и само небо казалось сделанным из фольги. Что с людьми-то стряслось? Он не припоминал, чтоб в Ваконде люди хоть когда-нибудь были такими – такими в воду опущенными, такими взбудораженно-чесоточными. «У наших ребят с Запада – у них есть стиль... стерженок в них есть». Но он все дальше ехал на запад – Миссури, Канзас, Колорадо, – умываясь засушливым воздухом прерий, не видел ни малейших признаков того самого стиля и стержня и нервничал все больше. «Жара – и вся эта муть заморская! – пробовал он диагностировать причины социального недуга. – Вот в чем дело-то». (Но как оно докатилось до каждого городка, где я бывал? Охватило всех – от младенцев до глубоких старух!) «И к тому же влажность, конечно», – неуверенно добавлял он. (Я чувствовал, что скоро с ума свихнусь от этого нездорового ажиотажа, и мне приходилось сдерживаться изо всех сил, чтоб не врезать по какому-нибудь из этих обугленных солнцем рыл и не заорать: проснитесь, болт вам в задницу, проснитесь и оглянитесь вокруг! Вот он я, вернулся из Кореи, где рисковал шкурой, спасая Америку от коммунык!.. Проснитесь – и *пользуйтесь* тем, что я для вас сохранил.

Мне вспомнилось это, этот порыв врезать хоть кому-то по морде и встряхнуть его, потому как я знал, что это самый опасный и нежелательный из моих порывов... теперь, когда вернулся Малыш. Обычно это естественная моя реакция на то самое чувство нездоровой суеты и всеобщей опухлости вокруг. И стоило мне подхватить эту опухлость в своем путешествии на байке по стране, как оно не замедлило излиться на одного зубоскала в баре. В том самом городе, где я встретил Вив. Здоровый парень, под два метра, – ну и я не промах. Он сострил что-то насчет армии, приметив на улице бухого солдата. И я сказал ему, что кабы не тот солдат – он, возможно, снег бы в Сибири убирал, а не сидел бы сейчас здесь и не макал свой уродский нос в пиво... Он в ответ покати на меня, дескать, я – типичный продукт пропаганды Пентагона. Я ему заметил, что сам он продукт чьего-то пищеварения, и не успели мы опомниться, как увязли в дискуссии по уши. С тех пор я поумнел. Я и тогда-то понимал, еще до того, как мы сцепились, что этот хмырь подписывается на журнальчики вроде «Нэйшн» или «Атлантик», а то даже и читает их, и потому в словесном поединке я и одного раунда против него не выстою. Но я тогда слишком основательно залил глаза, чтобы держать на замке рот. И все вышло так,

как обычно со мной бывает, когда я схлестываюсь в споре с тем, кто и во сне помнит больше, чем я наяву. Я не по делу, но от души выговорился о своем отношении ко всяким штатским заморышам – и не знал, чем закончить. Сидел дурак дураком: в крови адреналин кипит, губы шлепают по воздуху, как лопасти вертушки, а лететь-то и некуда. Нет чтоб просто отвалить от этого хмыря – но я не из такого теста слеппен. Исчерпав все слова, я прибег к другим средствам, надежным и проверенным.)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.